

## Ракеты

### Самолёты, ракеты и спутники в моей жизни

Заслуженный тренер России Галина Ивановна Пучкова, живущая в Рязани, написала книгу «Из жизни тренера» (это её вторая книга). Говоря в ней о своём становлении (не только как тренера, но и как личности), она называет события и людей, повлиявших на него, и в частности первый полёт человека в космос и, конечно, Юрия Гагарина.

Редактируя в рукописи этот отрывок текста, я подумала, что и в моей жизни первый полёт человека в космос много значил (ещё до свершения!), а свершившись, возможно, реабилитировал меня, вехой вошёл в мою трудовую биографию. Захотелось мне вспомнить, как всё было, тем более близился 50-летний юбилей космонавтики, поведать воспоминания сначала школьной тетрадке в клетку, а потом и компьютеру.

Было начало апреля 1951 года. Возможно, даже 12 число. Но весна что-то не спешила утвердиться: с низкого по-зимнему неба поросил серый снег.

Я училась в 9-ом классе одной из средних школ старинного города Моршанска, широко известного в стране своей махоркой и сукном.

В этой школе были тогда прекрасные учителя, многие из которых прежде преподавали ещё до Октябрьской революции и невольно обучали своих советских учеников в гимназических традициях.

Особенно придерживалась их наша учительница литературы, Надежда Владимировна Гамаюнова, которая не только старалась напичкать нас знаниями, но и пыталась привить нам «хорошие манеры» гимназистов и гимназисток. Как раз за эту попытку её явно недолюбливали ученики и тайно молодые учителя, но те и другие её, безусловно, уважали: она отлично знала свой предмет и умела держать в руках класс, даже полный отъявленных хулиганов.

Особую же значительность придавало ей то, что при случае очень ненавязчиво она упоминала о своём дореволюционном знакомстве с известными в её время писателями. В основном это были те, о ком в наших советских учебниках литературы сообщалось мелким шрифтом. Правда, когда мы изучали творчество Маяковского, Надежда Владимировна принесла в класс групповую фотографию, на которой она была запечатлена в одной компании с поэтом. Помнится мне смутно, что она что-то говорила о Коктебеле, где у Максимилиана Волошина собиралась летом талантливая молодёжь, о сёстрах Марине и Анастасии Цветаевых, но эти имена и фамилии для меня тогда ничего не значили.

Думаю одним из пережитков прошлого Надежды Владимировны было её увлечение школьным сочинительством. В старших классах мы писали сочинения еженедельно, в классе и дома. А

когда пробовали протестовать, Надежда Владимировна очень эмоционально объясняла, что таким образом хочет научить нас мыслить самостоятельно. «Вы собираетесь получить высшее образование, а это значит...», – говорила она, но дальше я уже не слушала, смотрела в окно со своей парты во втором ряду от него. Нотация не имела ко мне отношения – сочинения я исправно писала и полагала, что при этом «мыслю самостоятельно».

Надо заметить, что «мыслить самостоятельно» в то время, в общем-то, было не принято. Существовало определение, сохранившееся и до сих пор, «независимо мыслящий». Употреблялось словосочетание «человек, независимо мыслящий» как признак чьей-то исключительности, не всегда, впрочем, положительной и одобряемой вышестоящими товарищами. Не стану распространяться на тему, кто и за кого мыслил. Но Надежда Владимировна со своим намерением шла в системе образования против течения. Не знаю, как ей это удавалось. Возможно, потому, что школа была железнодорожной и не подчинялась ни гороно, ни районо.

В общем, Надежда Владимировна добилась того, что литература в её классах считалась основным предметом. Да и была в этом логика – ведь литература сдавалась на вступительных экзаменах в любом вузе. Итак, скрепя сердце, мы писали сочинения и не только на темы, предусмотренные программой, вроде «Образы Катерины в пьесе А. Островского “Гроза”» или «Образов коммунистов в романе М. Шолохова “Поднятая целина”», но и на так называемые вольные темы. Вольной тема в прямом смысле не была: её всегда предлагала сама Надежда Владимировна, но не была и связана конкретно с каким-то литературным произведением и главное – с тем, как трактовалось оно в учебнике литературы.

12 апреля 1951 года Надежда Владимировна написала на доске такую вольную тему: «Мы к славе Отчизну свою поведём».

Я принялась писать некий рассказ о том, как через десять лет мы, одноклассники, соберёмся в прекрасный весенний день в школе и будем отчитываться перед своими наставниками в том, что успели сделать за это время на благо Отчизны. И вдруг в разгар нашей дружеской беседы раздадутся позывные, и знакомый торжественный голос Левитана произнесёт: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...». Мы все узнаём с потрясением и восторгом, что в эту самую минуту в космос отправился наш одноклассник. Я так живо представила и свой восторг по поводу этого исключительного события и прекрасный, наполненный ароматом сирени вечер (сирень росла в сквере напротив школы), что мне показалось, будто и тетрадь моя стала благоухать сиренью.

Позднее я никак не могла вспомнить, почему написала такой, космический, рассказ. Покорением космоса у нас в классе никто не бредил – я тем более. Пресса на эту тему не распространялась, да и не читала я тогда газет: казались они мне скучными. Единственный источник информации – радио (телевизора не было) тоже её не муссировало. Не помню, что бы и читала я

какую-нибудь фантастику на эту тему. Но вот – написала и была уверена, что попала в точку, так оно и будет, пусть не с одноклассником и даже не с моим другом, который уже учился в лётном училище, но будет обязательно с нашим современником. Видимо, в человеке генетически заложены интерес к космосу, Вселенной, желание оторваться от матушки Земли, взглянуть на неё со стороны, хотя бы чужими глазами.

Написав сочинение, где мой современник и соотечественник первым в мире отправился осуществлять эту извечную мечту, я беспокоилась лишь о том, ни сделала ли орфографических ошибок. Вообще-то, в сочинениях я научилась их избегать, меняя слова, другое дело – диктант, тут уж ни слова не выбросишь.

Дня через два Надежда Владимировна явилась к нам в класс, как всегда, запыхавшись, в неизменном своём синем сатиновом халате, на котором красовался орден Ленина (за выслугу лет и безупречную работу), с потрёпанным пузатым портфелем, но в необычно дурном настроении. Выбрасывая из портфеля на стол наши тетради, она тут же, с трудом преодолевая одышку, принялась ворчать тонким и несколько гнусавым голосом, делающим нотацию особенно язвительной, что мы все к весне разболтались, перестали работать, ведём себе безобразно в то время, как экзамены уже на носу... Под её ворчание дежурный раздал тетради.

Я открыла свою – и увидела огромную, жирную четвёрку, написанную так, словно писали её со злостью – вот тебе! Ошибок, даже пунктуационных, не было. Я обычно не выясняла, почему мне поставили оценку, которая меня не устраивает. А тут эта жирная, надорвавшая бумагу, какая-то мстительная четвёрка взбудоражила меня и, подняв руку, под изумлёнными взглядами одноклассников я попросила Надежду Владимировну объяснить, почему она поставила эту оценку.

– Вы не раскрыли темы, – ответила она и, сделав паузу, вдруг начала меня отчитывать за то, что я будто бы стала хуже учиться, много времени уделяю комсомольской работе и художественной самодеятельности и это сочинение – ничто иное как моя попытка скрыть отсутствие знаний неуёмной фантазией, несбыточными мечтаниями.

– В таком случае вам следовало поставить мне двойку! – сказала я, едва не плача.

– Не забываетесь, – спокойно возразила Надежда Владимировна, – здесь я определяю, что надо ставить.

– Да, конечно, а в космос из наших с вами современников кто-нибудь обязательно полетит, – запальчиво сказала я, садясь.

Во время этой полемики я неожиданно для себя почувствовала, что затаивший дыхание класс, на стороне учительницы. Моего сочинения, разумеется, никто не читал, но по репликам Надежды Владимировны все решили, что я на сей раз нафантазировала сверх меры.

– Тебе не следовало так конкретизировать,– говорила потом моя соседка по парте,– наша школа, одноклассники, один из наших мальчишек в космическом корабле – это кто же?

– Космический полёт, если он и осуществится,– уделили на перемене мальчишки внимание необычному спору,– то далёком будущем.

А все они знали о Циолковском, который обосновал возможность применения ракет для межпланетных сообщений, о Кибальчиче, разработавшем проект реактивного летательного аппарата. Но то были учёные с мировым именем, теоретики, за мыслями которых не поспевало развитие техники, а тут школьница, соученица, возомнившая себя Жулем Верном.

Пришлось мне проглотить обиду, но сочинение я припрятала, благо тетрадка кончалась, и Надежда Владимировна не запретила мне начать новую. Наши отношения с нею после этого инцидента не испортились, до окончания школы я оставалась её любимой ученицей, как это отмечали мои одноклассники. Замечу, что именно она больше всех поощряла моё увлечение драматическим искусством и не только до, но и после пресловутого сочинения неизменно давала мне главные роли в школьных спектаклях (она руководила драматическим кружком). Как-то в поисках настоящих костюмов для постановки «Доходного места» А.Н. Островского мы с ней побывали у нескольких очень старых дам (самой Надежде Владимировне было за 70 лет), и те вынули из старозаветных сундуков настоящие сокровища – вещи, достойные музеев: платья, украшения, сумочки и веера. Однако даже во время этого многочасового похода Надежда Владимировна держалась со мной очень официально и называла по фамилии. Только незадолго до выпускного вечера она вдруг остановила меня в коридоре и, назвав по имени, спросила, куда я решила поступать.

– В Московский авиационный технологический институт,– ответила я, удивлённая её заинтересованностью.

– Ирочка, вы себя губите! – воскликнула Надежда Владимировна с искренней тревогой и вдруг заплакала и, не сказав больше ничего, видимо, устыдившись своих слёз, направилась к учительской.

Я смотрела ей вслед обескураженная её порывом, испытывая даже некоторое презрение к ней за её неуместную сентиментальность. Наверное, мне стоило побежать за старой расстроенной учительницей, объяснить, что мой выбор, ведущий, по её мнению, меня к гибели, не случаен, что я долго думала; что, учась в железнодорожной школе, я вне школы находилась в лётной среде. Но тогда мне пришлось бы откровенничать с Надеждой Владимировной, отношения с которой у меня никогда не были доверительными. Я предпочла ограничиться удивлением, усмехнулась, и пошла в класс, по дороге вспомнив историю со злосчастным сочинением.

Выбор же мой был обусловлен многими обстоятельствами. Авиация всё ещё находилась в фаворе у советского народа. После войны самолёты совершенствовались, наращивали скорость, появились реактивные истребители. Моршанск, широко известный махоркой, стал известен ещё и

тем, что его облюбовали лётчики. Возле него появился военный аэродром, военные городки. Одно время было даже лётное училище, но и после его дислокации лётчики составляли очень заметную часть жителей города. И не без их влияния моршанские мальчишки шли в лётные училища. Одним из них за два года до моего выпуска стал юноша, с которым мы строили общие планы на будущее. Отец моей подруги, подполковник, был лётным инженером, одно время служившим под началом у сына Сталина, Василия. Эрудит и прекрасный рассказчик, он много интересного поведал мне об авиации. Летом ежедневно с бугра, где располагался мой дом, я могла наблюдать, как взмывают в небо великолепные машины, как вызывает их взлёт на земле небольшие чёрные смерчи и те бегут к заводскому посёлку, но никогда его не достигают, рассеиваясь облачками серой пыли. Было и ещё одно обстоятельство: я с дошкольного детства, со времени начала Отечественной войны, панически боялась самолётов, в чём никому не признавалась. Мне казалось, что они вот-вот начнут бросать бомбы или стрелять на бреющем полёте. Меня пугал их рокот. Чтобы преодолеть этот страх, решила максимально приблизиться к ним. Вдобавок ко всему этому, поступив в технический вуз, я бы продолжила инженерную традицию в нашей семье, чем очень бы порадовала отца-инженера, тогда главного инженера завода «ХИММАШ»

И всё-таки, уже подав документы в МАТИ, Московский авиационный технологический институт (единственный во всём мире институт такого профиля, хотя авиационных только в СССР было несколько), я решила узнать, на что бы могла рассчитывать, если бы следовала негласным советам Надежды Владимировны. Я не сомневалась, что она видела меня литератором или актрисой. Выяснилось, что всюду я, медалистка, опоздала. Поступать в университет теперь можно было лишь на общих основаниях. В Литературном институте давно закончился творческий конкурс, на который необходимо было представить работы, каких у меня не было – одни многообещающие школьные сочинения, – кроме того, поступающий должен был иметь двухгодичный стаж работы. В театральной студии МХАТа, куда я направилась, провалившись на собеседовании в МАТИ, мне вдруг повезло: предложили показаться сразу на седьмом туре, не спросив предварительно даже документов. Но на показ я не пошла, не стала искушать судьбу: на квартире меня ждало извещение, что я всё-таки принята в институт на специальность «самолётостроение». Моими однокурсниками стали знаменитые впоследствии (нет, не конструкторы!) хоккеисты братья Майоровы. Оказалось, что в институте вообще очень ценятся всякие не имеющие отношения к авиации занятия студентов и абитуриентов. В нашу группу попали мастера спорта по плаванию, водному поло, лыжам, слалому, разрядники по боксу и волейболу, хоккеисты.

Думаю, меня после позорного провала на собеседовании приняли только потому, что я была секретарём комсомольской организации школы и членом Моршанского горкома комсомола. Но в

случае со мной члены приёмной комиссии не ошиблись: я училась хорошо, хотя значительно хуже, чем в школе. Лекционная система преподавания без учебников, когда материал изучался только по лекциям, наспех записанных в тетрадке, оказалась не по мне. Вначале наш институтский курс был рассчитан на шесть с половиной лет. Потом, постепенно (согласно постоянным у нас реформам в сфере образования) он сократился до пяти лет. В нашей группе было при поступлении, кажется, 32 человека, из них 8 девушек, до финиша дошли 26 студентов. Одна девушка из-за особого расположения к кому-то из футболистов сборной СССР «отсеялась» ещё на первом курсе, поскольку не могла совмещать учёбу с периодическими поездками за футболистом на соревнования и сборы. На смену ей явилась отважная девица Лариса Козлова, которая отстала от своего курса из-за травмы. Она летала на планёре и потерпела аварию, в результате которой серьёзно повредила нос: его пришлось пришивать. Это было одно из достижений пластической хирургии того времени. А удачное падение Ларисы – счастливый случай из тех, о которых нам рассказывали на лекциях по истории авиации.

Один такой случай мне запомнился: где-то на заре авиации, может быть, чуть позже упал одноместный самолёт. На место катастрофы помчались аэродромные машины, скорая помощь. Подъехали преисполненные скорби коллеги – и видят: на большой куче мусора, на городской свалке, груда деревяшек, а вокруг неё ходит целёхонький лётчик, только совсем седой.

У Ларисы всё обошлось без седины, однако пришлось ей с планёра пересесть на байдарку, восьмёрку. Она потом меня усиленно подбивала пойти к ним рулевым – очень уж им подходил мой малый вес. Эти самые мои 40 кг позволили моим однокашникам – пловцам переправиться вплавь со мной, не умеющей даже держаться на воде, через реку Москву в районе Серебряного бора. Там располагался завод, на котором мы, студенты четвёртого курса, проходили практику. Обычно мы только до обеда слонялись по цехам, поскольку на заводе решительно никому не были нужны, а потом отправлялись на пляж. Вероятно, мы так мешали заводчанам своим присутствием, что заводские руководители практики делали вид, будто не замечают нашего отсутствия после обеденного перерыва. А ведь здорово они тогда рисковали: утопили бы меня, скажем, добрые молодцы случайно – и больших неприятностей руководителям не миновать. Но не утопили и на другом берегу рассказывали остальным членам нашей группы, переправившимся самостоятельно, как это я их, мастеров спорта, едва не пустила ко дну.

У нас была хорошая, сплочённая, сильная не только в спортивном отношении, но и в учёбе группа. Треть её составляли бывшие медалисты. Пять из них продолжали лидировать по успеваемости (я входила в их число). И только один парень, золотой медалист из Киева, не смог справиться со своей полной свободой, жизнью в общежитии – его оставили на второй год, хотя это и было против институтских правил. Пошли навстречу его дяде – Герою Советского Союза, который заменял парню отца. Ещё один медалист чуть было не отправился по его пути, но вовремя одумался. Надо заметить,

что эти ребята не были совершенно уж предоставлены сами себе. Существовала комсомольская организация, которая всё-таки и сдерживала, и направляла, как ни странно это сейчас звучит. И с одним Геннадием его товарищи разговаривали (и по душам tet-a-tet, и на собрании), и со вторым. Второй, как говорится, проникся и даже обратился к соученикам, входившим, как и он в хоккейную команду «Крыльев Советов», с прочувственным призывом: «Чайники! Пора нам определиться, кем мы намерены стать – хоккеистами или инженерами!» Он выбрал инженерию. Братья Майоровы – хоккей, что не помешало им (кажется, обоим) окончить в институте аспирантуру.

Примечательно, что среди медалистов мало было москвичей, а в нашу лидирующую пятёрку они и вообще не входили. Первенство в ней принадлежало девушке из Сталинграда Лидии Суминой, потом шёл парень из Дагестана Володя Якубов, за ним Юра Ерчев из районного города Пронска Рязанской области. Я из Моршанска, кажется, в этом ряду была четвёртой, а пятым – то ли Витя Калешин, помнится, из Ташкента, то ли Витя Глухов, он уж точно из Кадома Рязанской области. Таких патриотов своей малой родины, как Юра Ерчев и Витя Глухов, я ни прежде, ни потом не встречала. Они неизменно именовали себя рязанцами и славили Рязань, хотя жили от неё в очень значительном удалении, в так называемой «глубинке». И в этой самой глубинке ребята получили прекрасные знания без всяких репетиров.

Во время учёбы в институте я стала свидетелем значительных политических событий. Прежде всего, это смерть Сталина. Мне довелось его увидеть на ноябрьской демонстрации 1952 года. Но запомнился вовсе не он: его образ давно сложился у меня в памяти благодаря средствам массовой информации. Живой Сталин, стоявший на трибуне Мавзолея, ничего к нему не прибавил. Я отметила только, что хорошо он выглядит, прямо человек без возраста. Поразили демонстранты своею экзальтированностью. Некоторые из них на Красной площади впадали в экстаз, вопили здравицы, рвались к трибуне. Удивило и то, что военные, поддерживающие порядок, были к ним снисходительны. Мой соученик огрызнулся на офицера, сделавшего ему замечание: «Я сюда посмотреть на вождя пришёл, а не маршировать»,– и из нашей шеренги двинулся к той, что была ближе к Мавзолею.

Известие же о смерти Сталина с утра деморализовало город. Жители почему-то все одновременно стали перемещаться, а наземный транспорт перестал вдруг действовать. Люди устремились к метро. Двери станции «Площадь Маяковского» были выломанны, и их проёмы безуспешно штурмовала толпа. По улице Горького, свободной от машин и троллейбусов, ветер гнал какие-то бумажки, будто где-то поблизости разворошили свалку. В институте на Ульяновской улице (вблизи Таганки), куда мне всё-таки удалось добраться с улицы Горького к началу занятий, формировали делегацию на похороны. От участия в ней я отказалась, старалась вообще избегать

подобных мероприятий, да и после штурма сначала дверей, а потом и поездов метро, когда я едва не погибла, стала опасаться толпы и поняла, что Колонный зал, где был установлен для прощания гроб с телом вождя, тоже придётся штурмовать. Моей подруге Лиде, чтобы проникнуть в зал, пришлось ползти под машинами. Были и такие, кто пробирался к залу по крышам. Но, странное дело, после похорон никто из моих московских знакомых, ни в институте, ни в коммунальной квартире, где я снимала угол, не говорил о погибших во время этого исторического события. Я узнала, что погибли люди, через много лет и то не от очевидцев, а из какой-то литературы. Не слышала я тогда и скорбных разговоров. В квартире, может быть, их не было потому, что некоторые её жильцы не успели ещё оправиться от страха, который переживали в связи с делом врачей. В институте на политические темы мы разговаривали только на семинарах по истории партии.

Во время майской демонстрации 1953 года на трибуне Мавзолея были уже новые руководители партии и правительства, порядка на площади прибавилось.

Прошли почти три года с момента смерти Сталина. В конце февраля закончился XX съезд КПСС, с докладом на котором выступил 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв. Относительно этого доклада сразу же стали распространяться по столице слухи, так как содержание его не было опубликовано. Примерно недели через две с докладом стали знакомиться члены КПСС на закрытых собраниях, слухов прибавилось. Вскоре решили сделать секретную информацию и достоянием доверенной молодёжи, в числе которой оказались и студенты МАТИ.

Наш четвёртый курс так называемых «механиков» («самолётчики», «мотористы», «прибористы», «неметаллисты») собрали в актовом зале. Прекрасно помню, как на его сцене не раз по-соседски превращалась в «умирающего лебедя» Майя Плисецкая, тогда не только солистка Большого театра, но и комсомолка. (Главный корпус института находился неподалёку от театра на Петровке.) Не забыла я выступлений в нём прославленных актёров Николая Крючкова и Михаила Кузнецова, создавших образы идеального советского человека, и совсем юной Ольги Бган, смущённо лепетавшей, как она работала над своей ролью. А вот кто читал пресловутый доклад, как это чтение было сценически обставлено, не помню. Хотя впечатление от того, что услышала, ни с какими другими впечатлениями, полученными прежде в актовом зале, сравнить не могу. Я была в шоке. На глазах более чем двух сот человек не только развенчивали – раздевали догола Кумира.

Я росла в беспартийной семье. Один мой дед, фельдшер, был репрессирован в 1937 году и расстрелян, жизнь другого, священника, после Октябрьской революции изменилась не в лучшую сторону. Знала, что отец чудом избежал репрессий, но не сделал достойной его инженерной карьеры только потому, что был сыном священника и не скрывал этого в анкетах. Но, пионерка, комсомолка, я выросла с образом вождя-гения – не тирана, не деспота – и воспринимала его символом нашего строя, посвятила ему своё выпускное сочинение. Развенчивание его означало для меня



развенчивание самого социализма, а ведь меня и сидящих в зале моих сокурсников не раз проверяли на верность ему...

– Как же мы жить после всего этого будем? – прошептал мне уже на выходе из зала наш староста Валерий Пронин, который прежде держался эдаким бесшабашным, неунывающим малым.

Жить мы продолжали так же, как и раньше, а вот некоторые наши соседи захотели после этого иной жизни. В Венгрии произошло антисоветское восстание. Это событие мне довелось обсуждать с его участницей Светланой – студенткой Московского института иностранных языков. Во время восстания она и её однокашница были направлены военной кафедрой в Будапешт. Девушки под видом путан должны были собирать некую информацию в тамошних кафе и ресторанчиках, не зная, что удивительно, венгерского языка. Однажды их заподозрили (не без основания) в шпионаже и задержали. А кто задержал, повстанцы или представители законной власти, они не знали, а потому не решались заговорить ни на русском, ни на английском языке. Ошибка могла стоить жизни. Хорошо, что напарница моей знакомой была то ли молдаванкой, то ли долго жила в Молдавии, – стала объясняться на молдавском языке. Девушек посчитали румынками, отлупили для острастки и отпустили.

– Это восстание, девочки, не обошлось без участия англоязычных советников,– сказала Светлана,– Наши бывшие союзники – теперь наши враги, так что придётся вам потрудиться на оборону.

Мы не сомневались, что большинству из нас предстоит работать на оборонных предприятиях.. Пассажирская авиация по-прежнему уступала авиации военной, хотя и развивалась. Первый в Советском Союзе реактивный пассажирский самолёт ТУ-104, поднявшийся в небо четвёртым в мире как самолёт этого класса, стал в 1956 году единственным совершающим регулярные полёты. Первый регулярный рейс он сделал в сентябре по маршруту Москва– Омск – Иркутск. Открывались новые линии. Наши гражданские лётчики стали летать за рубеж: из Москвы в Лондон, Будапешт Копенгаген и т. д. ТУ-104 прилетел в Лондон во время пребывания там Хрущёва, чем поразил англичан. Потребовались стюардессы со знанием иностранных языков, ими становились выпускницы иняза. Одной из них сделалась невестка моей соученицы, и мы не знали, как к этому отнестись: считали профессию стюардессы не престижной.

Но авиационные особые конструкторские бюро, ОКБ, и заводы продолжали совершенствовать свою военную продукцию, и мы рассчитывали работать там. Однако, чем ближе подходил наш выпуск, тем чаще наши преподаватели, ведущие специальные дисциплины, как бы между прочим стали говорить, что не всем нам уготовано место в авиации, но отчаиваться по этому поводу не следует, так как мы выйдем из института специалистами широкого профиля. Впервые о возможном

отлучении от авиации нас предупредил профессор, читавший лекции по самолётостроению, и предупредил, что, скорее всего, «самолётчиков» (две группы – примерно 60 человек) ждёт ракетостроение.

– Ну вот! – в ответ на это сообщение раздалось многоголосое разочарованное восклицание. Ракеты «самолётчики» связывали с вооружением, а быть «вооруженцами» не собирались. Да и готовили тех в основном в военных учебных заведениях.

– Да ничего страшного! – утешил нас маститый учёный, читавший лекции не только в Москве, но и в Киеве. – У ракеты только крылышки поменьше, да скорость побольше, а так – тот же самолёт.

Ах, утешение это было слабое. Мы поняли, что нас намереваются, без нашего на то желая, отлучить от самолёта – этой самой совершенной, самой красивой на свете машины – и противостоять этому мы не в силах. «Может быть, и мне после окончания института, отработав обязательных три года, придётся принять участие в изготовлении ракет, этих безобразных смертоносных бочек», – подумала я, не вспомнив, что такие же бочки, по замыслу Циолковского, входили в состав космических кораблей, не вспомнив о своём сочинении.

Но нам ещё дали возможность поиграть в главных авиаконструкторов: выполняя курсовой проект, каждый из «самолётчиков» спроектировал по самолёту.

Своего детища я не помню, хотя получила за него пятёрку. А вот руководителя проекта не забыла: им был Алексей Андреевич Туполев, сын прославленного авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева, тогда молодой и красивый человек. Девчонки из группы прознали, что он не женат, и самая эффектная из нас – высокая блондинка – перешла было в наступление, однако тщетно. Себе в утешение, а остальным в назидание она объяснила, будто потерпела фиаско лишь потому, что молодым преподавателям запрещены романтические отношения со студентками. Очень возможно, что это было правдой.

У меня самой уже на пятом курсе, вопреки назиданию, начинались романтические отношения с руководителем дипломного проекта. Он тоже был молодым («Я всего на восемь лет вас старше», – сказал он мне как-то), холостым, но некрасивым в отличие от Алексея Андреевича. Впрочем, студенты за глаза звали обоих одинаково фамильярно: Туполева-младшего – Лёшей, а моего последнего руководителя Васей, что не мешало всем его уважать, считать умницей и признавать его талант. Мне он нравился чрезвычайно. И я чувствовала, что нравлюсь ему тоже. Однако наши личные отношения приняли вялотекущий характер. Зато мой проект мы сделали отлично. И защитила его я на пятёрку, вызвав при этом повышенное внимание к себе авторитетной комиссии. Но, признаюсь, не столько необычной конструкцией штампа, сколько очень редкими тогда туфлями на шпильках, которые накануне мне посчастливилось купить в ГУМе.

А к тому, что я серьёзно занялась штамповкой, приложил руку и Алексей Андреевич: спустил меня с облаков на землю. Во время одной из консультаций моего проекта сказал, что я выступаю в роли конструктора самолёта в первый и, скорее всего, в последний раз. И, обычно немногословный, стал объяснять, что конструирование самолётов – дело коллективное. Главный конструктор подобен композитору, чьё произведение до слушателей доносят десятки исполнителей. Конструкцию же самолёта разрабатывают сотни людей. И мне в этой сотне хорошо, если представится возможность конструировать какие-нибудь окантовки к лючкам, в лучшем случае – к иллюминаторам. Поэтому полезнее было, по его мнению, заняться мне технологией, к примеру, штамповкой, без которой не обходится ни один самолёт. Ушата воды со своим наставлением Алексей Андреевич на меня не вылил, но очень удивил, и о нашей беседе я рассказала соученикам.

– Наболело,– заметил кто-то из всезнающих москвичей,– его собственная конструкторская карьера не задалась. Он всех по себе меряет.

«Карьера не задалась у сына знаменитого конструктора,– подумала я,– На что же тогда рассчитывать мне?» К тому времени я уже поняла, что неправильно выбрала профессию. Не моё это было дело – возиться с бездушными деталями, пусть и самолётов, и, не дай бог, ракет. Всё чаще мне вспоминались слова Надежды Владимировны: «Ирочка, вы себя губите». Думала даже бросить институт, но не сделала этого потому, что, во-первых, не знала, чем мне нужно потом заняться, во-вторых, боялась огорчить родителей и дать повод их знакомым говорить: «Вот они, медалисты какие – в институтах не удерживаются», как говорили об одном моём однокласснике.

Поводом к тому, что я разочаровалась в профессии, послужило моё тесное общение со студентками журфака МГУ, с которыми одно время я жила в общежитии на Стромынке. Мне пришлось покататься по Москве, меняя жилища. Сначала это был угол в самом центре города, близ улицы Горького, в Дегтярном переулке. Потом я очутилась за хорошие успехи в общежитии, которое находилось аж в Тушине, затем были Стромынка, Черёмушки, Сокол. Так вот, в общежитии на Стромынке, где прежде обитали студенты МГУ, после перевода их на Ленинские Горы оказались студенты из разных вузов Москвы и журфака. При заселении комнат не учитывалась наша принадлежность к учебным заведениям. И мне пришлось жить в комнате, где обитало 15 человек, учившихся и в пищевом, и в экономическом, Плехановском, и ещё каком-то институте. Потом я поселили в комнате на восемь человек, и они были тоже из разных вузов.

Студентки журфака страдали от многочисленных письменных работ, каких-то, едва ли не школьных по тематике, сочинений. А я им завидовала, подавала советы, что-то подсказывала, и они принялись убеждать меня бросить институт и поступить в университет.

Нашлись и такие соблазнитель, кто подбивал меня поступать на сценарный факультет ВГИКа или актёрский ГИТИСа. В комнате, где я жила прежде, были три девушки из Кабарды. К ним приходили в гости, обычно по выходным, студенты ГИТИСе (там для будущего драматического театра в Нальчике была создана специальная студия) и Литературного института. То, что они рассказывали о своей учёбе, казалось мне сплошным праздником, и было странно слышать, что они испытывают какие-то затруднения при изучении лёгких, на мой взгляд, предметов. Всё это были весёлые обаятельные ребята (юноши и девушки), склонные к шуткам и розыгрышам. Они показывали этюды, танцевали, вели беседы, чинно сидя за столом, за чашкой чая. Юноши, в отличие от наших мальчиков, никогда не пили спиртного. Я как-то сразу вписалась в их компанию. Моя соседка по кровати Мария, самая старшая из девушек, к кому собственно все и приходили, накануне очередного сбора приглашала меня принять в нём участие. Как-то она спросила, нравится ли мне её двоюродный брат Хабас, студент ГИТИСа.

– Нравится,– ответила я скорее из вежливости, так как была к этому юноше равнодушна, как и ко всем остальным в этой милой компании. Они все представляли для меня интерес именно как единое целое, как будущие актёры будущего театра.

– А вышла бы ты за него замуж? – последовал вопрос. Принимая его за чисто риторический, я ответила утвердительно. Что касается замужества вообще, то я решила, что, учась в институте, не стану себя им обременять.

Однако наш диалог имел некое странное развитие. Я приняла его за игру, за продолжающийся неделями спектакль. Теперь мы с моим «женихом» всегда сидели рядом за столом. Его сестра, наша «сваха», вела со мной в перерывах между визитами гитисовской братии («жених» без окружения у нас не появлялся) какие-то разговоры о предстоящей свадьбе. Причём в приготовлении к ней упоминалась только их кабардинская родня, о моих же родственниках речи не было. Я подыгрывала Марии, стараясь её всё-таки образумить: о какой свадьбе-женитьбе может идти речь, когда мне известно: нравы у них строгие, женятся горцы только на девушках своей национальности, я же украинка, не знаю, ни языка их, ни обычаев. На это Мария и её соотечественницы отвечали: языком теперь не все и кабардинки владеют; в Нальчике много смешанных браков; а их старой бабушке, живущей в ауле, меня представят кабардинкой, благо я внешне вылитая горянка, а в национальном костюме буду ещё больше на неё похожа. В общем, девушки развлекались. Между тем главные герои действия виделись только на посиделках и не сказали друг другу ни слова. Правда, обменялись через ту же «сваху», возможно, и по её только инициативе фотографиями. Я стала обладательницей фотографии красивого молодого человека, с посвящением на обратной её стороне вовсе не мне.

– Другой – не было,– сказала Мария. – Пришлось у Нины взять.

Кажется, свою фотографию я сама ей отдала. Лида, жившая в той же комнате, но не участвовавшая в этой компании, порой спрашивала, не надоела ли мне ещё эта игра. По её и моим понятиям, молодой человек, демонстрируя особое расположение к девушке, должен был приходиться к ней один, а не с оравой кунаков, сам дарить ей свою фотографию и то после того, как она попросит, пригласить в кино или театр.

Пока же особое расположение ко мне демонстрировал живущий на том же этаже, что и мы чех Петер. Водил меня в кино, на прогулки, на какое-то торжество в МГУ, где собралась живущая в Москве чешская диаспора. Правда, он был зрелый молодой человек, лет на шесть меня старше, порабатавший, будучи ещё мальчишкой, на обувном заводе всемирно известной фирмы Бати. Учился он в Плехановском институте, и ему очень импонировало знакомство со студенткой, намеревающейся строить самолёты. Как-то он признался, что перед отправлением в СССР официальные лица намекнули, что ему следовало бы вернуться в Чехословакию не одному, а с женой, имеющей хорошее высшее образование. Девушки подобных наставлений не получали. Официальные лица понимали, что наши юноши останутся к ним равнодушны – русская красота уже и тогда в Европе ценилась высоко.

Продолжая привычный для русских девушек ритуал ухаживания, Петер пригласил меня на симфонический концерт то ли в Большой зал консерватории, то ли в концертный зал имени Чайковского и там, в перерыве, преподнёс мне коробку конфет. Коробку, естественно, я принесла в общежитие и стала угощать конфетами обитательниц комнаты.

– Откуда у тебя такие конфеты? – с подозрением спросила Мария.

– Петер преподнёс.

– Как это, преподнёс?

– Мы ходили на концерт...

– Ты – невеста! Да как ты могла! С посторонним мужчиной!

Я принялась оправдываться: двух слов мы с «женихом» друг другу не сказали; никуда он меня ни разу не пригласил: всё это было похоже на розыгрыш, на шутку. И получила от Марии гневную отповедь. Обо всём действительно важном, сказала она, мы-де с ней договорились; что касается каких-то моих пустых разговоров с женихом, то после свадьбы времени для этого у меня будет предостаточно; юноши в их роду с девушками никуда не ходят, дабы не скомпрометировать их – после свадьбы нагуляются; такими значительными событиями, как свадьба, у них, кабардинцев, не шутят.

От замужества я отказалась ценой разрыва всяких отношений со «свахой». И это было горько. Мне нравилась эта девушка.

Вскоре нас с Лидой, очень кстати, перевели в другую комнату, потом и в другое общежитие. Один раз в той другой комнате меня навестил Хабас и подарил на память маленькую, очень изящную

стеклянную птичку. Он был немногословен, возможно, плохо знал русский язык. Произнёс только: «Это тебе на память», – и тут же ушёл. Больше я его не видела. Прекрасная птичка вскоре исчезла. А вот чувство вины перед ним и его сестрой не оставляет меня до сих пор...

Отвлекала, уводила меня от техники и компания моего приятеля Андрея, с которым мы учились на Урале во время эвакуации в одном классе начальной школы. В ту пору он был поселковым вундеркиндом: начал учиться со второго класса и учился отлично. Преуспевал он тогда и в изготовлении моделей самолётов и кораблей из бумаги. Я полагала, что после окончания школы он поступит в авиационный институт. Наши пути разошлись, когда нам было лет по 10-11: Андрей с родителями уехал в Москву – я очутилась в Моршанске. После окончания школы мы встретились в Москве и возобновили детскую дружбу. И тут оказалось, что мы поменялись ролями: он, увлекавшийся моделированием, поступил на филфак МГУ, я, сочинявшая в детстве сказки, – в МАТИ.

Я с удовольствием стала ходить в гости в его семью, и центром притяжения для меня там была его мама, Татьяна Константиновна, которую я хорошо знала ещё по Уралу – мы были соседями. Благодаря её гостеприимству их маленькая комната в коммунальной квартире всегда была полна молодёжи. В основном собирались школьные товарищи Андрея, гуманитарии. Один из них, студент литфака педагогического института всё подбивал меня бросить МАТИ и вместе с ним попробовать поступить на сценарный факультет ВГИКа. Но я устояла, здраво рассудив, что «лучше синица в руках, чем журавль в небе», а как пишутся сценарии, я понятия не имела. Бывший вундеркинд Андрей к 9-му классу стал полиглотом и в университете продолжал прекрасно учиться. И достигал этого не только своими исключительными способностями, но и большим трудом. Я иногда оставалась у них ночевать, чтобы избавить Андрея от необходимости поздно вечером провожать меня, а его маму в связи с этим волноваться, и становилась свидетелем его ночной подготовки к занятиям. После бессонной ночи он отправлялся в университет, а я ехала в общежитие досыпать. И при этом завистливо думала, что и я бы могла сидеть ночами над учебниками, если бы мои учебные предметы интересовали меня настолько, насколько интересуют Андрея предметы его.

Меня с Андреем связывала дружба. Мы легко продлили те отношения, что у нас возникли в детстве, словно их просто перенесли из уральского посёлка Натальинска в столицу, а наш возраст и новое место жизни внесли в неё некоторые коррективы. В Натальинске мы вместе катались на лыжах, пасли его строптивую козу или у них в барачной комнате устраивали какие-то инсценировки. В Москве же мы могли ходить в театры, даже в Большой, куда трудно было достать билеты, на художественные выставки, пить вино из бокалов, купленных на первый гонорар Андрея, допоздна засиживаться за дружеской беседой в кругу его приятелей, кататься по ночной столице вдвоём на одном велосипеде. При этом я не сделалась «своим парнем», а потому приятели, окончившие мужскую школу, сомневались, что меня с их лидером связывает просто дружба. Засомневался и он и решил это

выяснить, для чего пригласил меня в сквер Планетария. Мы сели на скамейку у розария. Розы уже начали зацветать, но были какого-то неопределённого грязно-белого цвета. Я смотрела на них в ожидании, когда же Андрей заговорит. Неурочным свиданием он меня заинтриговал, и было заметно, что волнуется. Заговорил, сильно экая, то есть заполняя паузы, когда подбирал слова, протяжным звуком «э-э-э». Сообщил, что его любит девушка, которая учится с ним в одной группе. Но, прежде, чем решить, развивать ли с ней отношения или прервать их, ему надо знать, как отношусь к нему я.

– Не волнуйся, – ответила я, – ты всегда был и останешься для меня только мальчишкой из нашего класса.

Я лукавила: он был другом детства, единственным юношей, с которым я дружила, а не отвечала на ухаживания. Мне вовсе не хотелось прекращать нашей дружбы. Некоторое время она ещё тлела. В неё была втянута и девушка, любящая Андрея. Мы обе в большой компании провожали его на аэродроме. Он улетал в 1956 году учиться в Париж на два года.

Я обычно избавляюсь от писем, но храню фотографии. Андрей увлекался фотографированием в студенческую пору. И несколько сделанных им снимков у меня сохранились. Среди них «кусочек осеннего Лувра» с запиской на обороте:

«Дорогая Ира!

Желаю тебе удачи и счастья в этом году – особенно в этом, так как от него очень многое зависит. НЕ знаю даже, где ты сейчас и потому пока что посылаю этот кусочек осеннего Лувра маме.

Думаю, что встретимся ещё не раз, независимо от того, как далеко нас может занести.

Андрей»

Наверное, писалось это в 1957 году, в год, когда я окончила институт. Мы с Андреем потом встречались не раз, но прежняя наша дружба не восстановилась.

Взрослая жизнь диктовала новые нормы поведения, отношения между людьми разного пола требовали определённости.

Мой школьный друг, получив лейтенантские погоны, изменил наши общие отроческие планы: ему неважно стало, буду ли я работать где-то рядом с ним на аэродроме или он рядом со мной на заводе на испытательной станции (наши детские фантазии). Ему необходимо было, чтобы я разделила его холостяцкое одиночество и домовничала у него, то есть, чтобы бросила институт и ринулась за ним в Минск. «Чтобы жарить мужу по утрам яичницу, вовсе не нужно иметь высшего образования», – сказал он. Его кулинарные запросы ограничивались яичницей, видимо, потому, что обедал и ужинал он на службе. Такой удобный муж! Я же настаивала на том, чтобы он поступал в академию, тем более, в институте мне встречались лётчики, которые учились там вечером. В общем, каждый из нас остался при своём требовании. Правда, мы растянули расставание. Решили, что поженимся, когда он получит

ещё одну звёздочку. Звёздочку он получил и как снег на голову явился ко мне во время моих каникул (после окончания четвертого курса) в парадной форме с букетом делать предложение. Чтобы чувствовать себя свободно, он специально пришёл в рабочее время, когда моих родителей дома не было. И продемонстрировав всем своим видом цель визита, вдруг принялся упрекать меня в холодности, в излишнем пристрастии к учёбе, ещё в чём-то, а потом с присущей ему поразительной откровенностью сообщил:

– Я изменил тебе с первой встречной! И в этом ты виновата.

– Ну что ж, – спокойно сказала я, – теперь тебе остаётся только жениться на первой встречной.

– Вот и женюсь!

И действительно, женился в ту же неделю на первой встречной, потом через несколько лет – опять, потом... Но это уже сюжет для другого рассказа.

В общем, наши многолетние отношения оказались только первой любовью, а не любовью на всю жизнь. И в этой связи опять вспоминается мне Надежда Владимировна. Она пыталась внушить нам, девятиклассникам, что чувства, которые мы испытываем и считаем любовью, – вовсе не любовь. Это лишь кратковременная влюблённость, подготовка к любви, её предчувствие. И прочитала однажды стихи Александра Блока:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –

Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,

И молча жду, – тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду – и горестно, и низко,

Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.



В состоянии предчувствия Его, неудовлетворённости учёбой, недовольства собой и жуткой усталости от столичной жизни, от обилия людей я добралась до пятого курса, имея в зачётке, из примерно сорока оценок, три тройки: по сопромату, аэродинамике и штамповке. Справедливой считаю только оценку по аэродинамике. Оценкой же заниженной, абсолютно не соответствующей моим знаниям, – по штамповке. Но протестовать я не стала, хотя лишилась стипендии на семестр, но решила взять реванш, сделав по штамповке дипломный проект.

За прошедшие четыре года самолёт я видела всего один раз в конце четвёртого курса, да и то случайно. Бомбардировщик выкатили неожиданно для практикантов из ангара, и тягачи приготовились его куда-то тащить. Разумеется, приблизиться к нему нам не позволили. Полученная же практикантами группа допуска к секретной работе не давала права посещать сборочный цех, тем более лётно-испытательную станцию. Любовались «самолётчики» будущими своими изделиями в основном на картинках и на воздушных парадах в Тушино. А обучали нас так: два года пичкали теорией, которая потом в работе совершенно не пригодилась, но, возможно, тренировала мозги. На третьем курсе стали очень дозированно прибавлять специальные, инженерные, предметы. Собирабельный же образ самолёта был разделён при этом на агрегаты, узлы и детали, и нас принялись обучать, как их изготавливать, знакомя с разного рода оборудованием, приспособлениями, инструментом.

Первая производственная практика, на которой студенты осваивали рабочие профессии, прямого отношения к авиации не имела. Я, например, научилась заворачивать гайки, работая на конвейере узловой сборки карбюраторов. Карбюраторы предназначались автомобилям. Работала добросовестно и прилежно. Девочки в бригаде оценили это и наградили меня единственным полученным ими билетом на выставку Дрезденской галереи. Так что «нет худа без добра». К четвёртому курсу я и мои однокашники, наконец, обзавелись допуском к секретной работе. Кажется, тогда или несколько раньше нам показали знаменитый немецкий снаряд фау-2, находившийся в одной из институтских лабораторий. Демонстрировали его как объект секретный. Кто-то из студентов изумился этому – война давно кончилась, это оружие нашего бывшего врага – в чём тут секрет? Преподаватель объяснил: секрет заключается как раз в том, что это оружие у нас находится. И опять тогда возник разговор о ракетах как об оружии, о том, как необходимы они нашей стране.

На дипломную практику я вызвалась ехать в Горький. Устала от Москвы: от полуторачасовых поездок до института, от массы людей, от столпотворений в метро и магазинах. Голова порой кружилась, когда смотрела на покупателей с лестницы в ЦУМе или с балкона в ГУМе. Люди так надоедали, что я одна уходила в зоопарк и часами пребывала перед клеткой с тиграми. Их усытые, заросшие шерстью морды казались мне приятнее голых лиц.

В Горьком я должна была собрать материалы для своего дипломного проекта. Перед самым отъездом туда вдруг узнала, что руководителем преддипломной практики назначен мой руководитель проекта, то есть «сам Вася», Василий Фёдорович, кандидат технических наук тридцати лет от роду. С ним я уже была знакома. Познакомились на зачёте, который он принимал, кажется, по организации производства. Я сидела перед его столом, готовилась и никак не могла сосредоточиться: бубнили отвечающие ему студенты. Попросила разрешения пересесть подальше. Разрешил, а, когда потом стала ему отвечать, засыпал вопросами, проигнорировав те, по каким я готовилась. Ответила на все, и он спросил изумлённо:

– Зачем же вы захотели пересесть, если всё так отлично знаете?

– Сосредоточиться не могла.

– Жаль, что на зачётах не ставится оценка. Я бы поставил вам пять с плюсом, – сказал он и с тех пор стал выделять меня – здороваться со мной персонально и называть по имени и отчеству. Вообще-то Вася слыл женоненавистником и считал, что девушкам в технических институтах делать нечего. Как-то, показывая появившийся в печати учебник по авиационному оборудованию, написанный женщиной и мужчиной, изрёк: «Ну писал, конечно, он – она, хорошо, если запятые расставляла». Меня это замечание оскорбило, и я принялась, как говорится, из кожи лезть, чтобы рассеять его заблуждение. Сама придумала тему проекта, которая его заинтересовала.

Срок практики был небольшим, работы оказалось много, но у меня прибавилось сил, и я совсем не чувствовала усталости. После обеда приходил мой руководитель, Василий Фёдорович, смотрел, что я сделала, и вёл на прогулку по «большому кольцу», так он называл маршрут вокруг корпусов. Он следил за мной особо как за своей единственной дипломницей, считал, что прогулки мне, «худенькой и болезненной, необходимы, чтобы дышать свежим воздухом, а то я совсем заработалась и могу надорваться».

Тогда я не думала, что эти 45-минутные гуляния компрометируют руководителя практики: о них знали студенты, работники завода, да и как нелепо, как вызывающе выглядела парочка, прохаживающаяся среди бела дня в рабочее время по заводской территории. Не знаю, сколько времени он уделял остальным, но точно – не водил на прогулки больше никого. Для всех же организовал экскурсию на автозавод, и мы беспрепятственно побывали в сборочном цехе и увидели, как на последней операции садится в кабину шофёр и «Волга» своим ходом покидает цех. Не помню, побывали ли мы в сборочном цехе авиационного завода. Но самолёт нам Василий Фёдорович показал, на некотором от него расстоянии. Великолепный МиГ, последней модели, какая ещё не поступала в лётные части, стоял на площадке и продувался. То ли перед этим зрелищем, то ли после него работник завода рассказал, что был у них несчастный случай, когда при продувке у одного бедняги сорвало шапку, он бросился за ней и был затянут в сопло...

Увидели мы и беспилотный самолёт-разведчик. Он мне показался похожим на ту самую ракету, у которой «крылышки поменьше, а скорость побольше». Без пилота, на мой взгляд, летающий аппарат лишился одухотворённой красоты, становился подобен снаряду. Но вовсе не красотой определялось его назначение, да и всех остальных изделий, в изготовлении которых мне предстояло участвовать. Красота была уделом искусствоведов, трудившихся в музее, где мы тоже побывали.

Повёл нас Василий Фёдорович а, может быть, это мы его повели в нижегородский кремль. И после посещения музея мы стояли гурьбой на высоком, почти отвесном крепостном валу. Он держал меня за руку, наверное, чтобы я случайно не сорвалась с кручи. Серая каракулевая шапка съехала ему на затылок, пальто распахнулось, он азартно и завистливо следил за мальчишками, которые с безрассудной смелостью слетали с крутизны на лыжах.

– Увы,– насмешливо заметила я,– такая безудержная удаль характерна только такому возрасту.

Вася захохотал, сбросил мне на руки пальто и, перехватив у подвернувшегося мальчишки лыжи, устремился вниз. Кто-то вскрикнул. Я в страхе закрыла глаза и открыла их лишь после того, как снизу донёсся приглушённый ветром и расстоянием крик: «День-то какой! День-то!»

В общем, наш руководитель вёл себя с нами по-дружески, подчёркивая, что его и нас, как коллег, разделяет пока лишь наша защита дипломов. Мы поверили в его искренность, приняли в свою компанию, пригласили по приезду в Москву отпраздновать вместе 8 марта на лыжной прогулке. Он ничего не имел против этого, а в Москве вдруг отдалился от нас, стал держать дистанцию. Впрочем, произошла эта метаморфоза ещё на вокзале в Горьком. Выяснилось, что он всем нам взял билеты в плацкартный вагон, а себе – в купированный. На лыжную прогулку он с нами не пошёл. Со мной стал держаться официально и больше не беспокоился о моём здоровье. Засиживаясь допоздна над моим проектом по штамповке (не буду распространяться, что это был за проект), мы говорили только на технические темы. Правда, один раз мне показалось, что Василий Фёдорович хочет пригласить меня в театр. Мы долго размышляли над проектом: что-то не ладилось, каждый предложил уже не по одному варианту решения, которые сообщая были отвергнуты. Какое-то время молчали, потом он спросил:

– Ирина Константиновна (он продолжал называть меня по имени и отчеству, мне казалось – в насмешку), вы давно были в Большом театре?

Сердце у меня радостно подскочило к горлу, и я, не подумав, ликующе брякнула:

– Нет, недавно!

– Но всё равно вы, наверное, ещё не успели увидеть новую...

Тут он замолчал и, отвернувшись к окну, затянулся сигаретой. И меня опять подвела глупая радость. Я так привыкла договаривать за него оборванные на полуслове технические фразы. Что и тут с неуместной поспешностью добавила:

– Новую постановку «Кармен».

– Нет, – возразил Вася, не глядя на меня, – я имел в виду новую систему виброгашения в театре.

Мне стало до слёз стыдно. Обидно ужасно. В эту минуту я ненавидела и себя и его. И эта минута в какой-то мере повлияла на мой выбор предприятия при распределении.

На распределении мне стало понятно, что нашу узкую специальность «инженер-механик по самолётостроению» работодатели воспринимают универсальной. Меня, например, пригласили в какой-то вновь организуемый московский институт, занимающийся конструированием парашютов. И Вася, оказавшийся в комиссии по распределению, стал делать мне знаки, чтобы соглашалась. Я поспешила отказаться от института, от Москвы и от Васиной опеки. Выбрала омский авиационный завод, начавший выпускать Ту-104. Организаторами этого завода были прославленные конструктор А.Н. Туполев и Герой Советского Союза А.В. Ляпидевский – лётчик, участвовавший в спасении экипажа парохода «Челюскин». Первый был одно время на заводе главным конструктором, второй – директором. Способствовали моему выбору ещё и романтика дальних дорог, ветер странствий и то, что там во время войны учился и работал в танковом училище мой дядя, и Омск ему понравился.

Нам, студентам, на протяжении пяти лет преподаватели внушали, что распределение будет напрямую зависеть от наших успехов – лучшие места (в НИИ, ОКБ, опытных заводах) достанутся лучшим выпускникам. Результат не оправдал наших ожиданий. Лучшие места достались тем, кто хуже учился, в основном москвичам и жителям ближайшего Подмосковья. Василий Фёдорович потом объяснил этот парадокс тем, что между московскими и периферийными работодателями развернулась борьба за лучших выпускников. В результате этой борьбы способные ребята из нашей группы распределились в Омск. Затем министерские работники разбросали нас: меня и Ивана Наталоку оставили в Омске, остальных направили в Новосибирск. Когда мы по телефону попробовали протестовать, нас урезонили: «Какая вам разница – всё равно Сибирь».

О ракетах на распределении речи не было.

Меня Василий Фёдорович сначала пожурил за мой опрометчивый поступок, за то, что игнорировала его подсказку. Сказал, что мой выбор изумил членов комиссии и сыграл на руку омичам: за мной в Омск (в Сибирь!) устремились мои соученики. Но проиграла я, добавил он, только в бытовом отношении, лишившись Москвы с обещанной к сентябрю однокомнатная квартирой. В профессиональном же отношении, по его мнению, поступила разумно: завод сильный, большой, смогу на нём внедрить свой проект. О проекте Василий Фёдорович был высокого мнения и не раз говорил, что по нему можно уже начинать делать диссертацию: «Наберёте на заводе статистических данных и выступайте соискателем. Никакая аспирантура вам не нужна. Сами справитесь. А я по старой памяти буду вашим руководителем. Года два – не больше вам потребуется».

Об аспирантуре и диссертации я тогда не думала – все мысли были только о защите диплома, о предстоящей самостоятельной жизни в чужом далёком городе. А от этого города некое провидение попыталось меня увести уже на прощальной вечеринке.

В институте почему-то не устраивались выпускные балы, хотя танцевальные вечера бывали часто и чем-то притягивали молодёжь из других вузов, которая, каким-то образом минуя проходную, на них появлялась. В основном их посещали экстравагантные девицы из иняза. Пользовались популярностью вечера и у появившихся тогда в Москве стилиг. Специальных заслонов им никто не ставил и за белы рученьки из зала не выводил – своих стилиг уже было достаточно. Но с «тлетворным влиянием Запада» в институте всё-таки боролись на комсомольских собраниях, даже курсовых. Мне запомнилось одно из них. Вообще-то комсомольскими мероприятиями нас не обременяли. В колхоз наша группа ездила всего лишь раз и то на один день, на целину отправились, помнится, какие-то добровольцы из параллельной группы. Правда нас привлекали к дежурству на улицах и в наземном транспорте в качестве дружинников. Итак, запомнившееся мне собрание было посвящено разлагающему влиянию джаза и входившего в моду рок-н-рола. Выступали, конечно, только те, кто призван был осуждать, и одна девушка сказала, что рок-н-рол вреден уже потому, что от него неравномерно изнашивается обувь: подмётка быстрее протирается на правой ноге. Под хохот собравшихся девушка показала, как именно это происходит, обнаружив прекрасное знание осуждаемого танца.

Нам не пришлось истереть подмётки на выпускном балу. Просто же так разъехаться, без проникновенных речей и тостов, мы не могли – сроднились ведь за пять лет. Каждый видел своих соучеников за это время куда чаще, чем кровных родственников. И распрощаться следовало по родственному. Кто-то из ребят организовал вечеринку за городом, в какой-то водоохраной зоне, на квартире парня из нашей группы. Квартира располагалась в хорошеньком коттедже с обширной террасой, рядом сад, Москва-река или водохранилище, в общем, какой-то большой водоём, луг с пасущимися на нём лошадьми – чудесное местечко для раздумий, мечтаний, романтических прогулок. С прогулок и началась прощальная программа – у меня, во всяком случае.

Мой соученик Алик Панков привёл на вечеринку своего давнишнего друга – лётчика. Вообще-то наши ребята с лётчиками дружбы не водили, и Алик был исключением. Правда, он был исключением не только в этом: серьёзно занимался лыжным спортом, не мог спокойно пройти мимо фортепьяно в зале, что бы ни сыграть на нём какую-нибудь популярную песенку или мелодию из недавно увиденного фильма. Ещё он часто вспоминал этого своего друга и почему-то задался целью меня с ним познакомить. Задача была не из лёгких, потому что друг, которого он с пиететом именовал асом, служил в Германии. Но Алик не терял надежды её решить, а потому очень ревниво следил за моими намечавшимися знакомствами и на танцах порой отзывал меня в коридор (сам он не танцевал)

и, предостерегая меня от нежелательного для него знакомства, говорил: «Я же обещал тебя с асом познакомить, с настоящим парнем, эрудитом и слово своё сдержу». На знакомство с асом я не рассчитывала. Однако представление о «настоящем парне» составила. Был это некий собирательный образ, прототипами которого послужили актёры Белокуров (фильм «Чкалов»), Бернес (фильм «Истребители»), Крючков (фильм «Парень из нашего города»). То есть виделся мне человек лет сорока, кряжистый, с грубым, так называемым волевым, лицом и зычным голосом.

Я, как говорится, «попала пальцем в небо»: ас оказался невысоким, но вовсе не кряжистым, милым юношей в дорожном ярко-синем штатском костюме, в белой рубашке с галстуком, самым элегантным молодым человеком в нашей компании. Как была одета я, не помню: не собиралась производить ни на кого впечатления, даже на аса, хотя знала, что он будет на вечеринке. Знала и то, что ему, как в своё время Петеру, начальство дало задание вернуться в Германию с женой, а на устройство сердечных дел отводился всего месяц. Меня опять сватали или точнее, «без меня меня женили». Только на этот раз я не давала никаких обещаний даже в шутку.

Видимо, проинструктированный Аликом, его закадычный друг во время нашей прогулки демонстрировал мне свой культурный уровень. И, признаюсь, преуспел в этом. В то время представители одной социальной среды должны были примерно одинаково быть сведущими в музыке, живописи, литературе. И разговаривать не о политике, не о ценах на продукты и товары первой необходимости, а как раз об искусстве, о спорте, причём беседа не должна была напоминать экзамен. Не помню, что поведал мне новый знакомый о своих музыкальных пристрастиях. А вот о Дрезденской галерее мы поговорили: он рассчитывал побывать в ней в Германии, а я успела увидеть собрание в Москве. К тому же мы оба купили брошюру «Сокровища Дрезденской галереи». Но не познаниями в живописи он меня поразил и сразил, а чтением наизусть стихов Сергея Есенина. Я тогда только слышала, что вышла книга стихов поэта, а молодой человек, живущий в Германии несколько лет, читал наизусть одно стихотворение за другим. Хорошо читал:

Не жалею, не зову, не плачу,  
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.  
Увядания золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым.

Потом под каким-то благовидным предлогом (лужа на пути) он ещё немножечко поносил меня – обязательный мужской ритуал, долженствующий подчеркнуть серьёзность намерений мужчины. Однако лётчик решил выяснить и мои намерения.

- Как вы представляете себе развитие нашего знакомства, – спросил он, ставя меня на землю.
- «Поговорим – и разойдёмся».
- «Право?» – подхватил он.

– «Налево вы, а я направо»,– продолжила я.

– Но это Лермонтов, «Маскарад»,– сказал он, усмехнувшись, и добавил вроде бы с сожалением: – А в жизни... А в жизни времени у меня чертовски мало.

За столом мы сидели рядом, и он изумлял меня светскостью своих манер – не лётчик, а прямо культурный атташе.

Потом за прощальными речами и бесконечными тостами все как-то незаметно перепились. Алик стал тянуть своего друга пойти проветриться, покурить. Меня рядом с другом он вроде бы и не замечал. Друг извинился передо мной и вышел. Застолье через некоторое время закончилось. Все стали располагаться на ночлег, танцевать уже никому не хотелось. Друзья всё продолжали «курить». И вдруг на весь заснувший, предрассветный посёлок раздалась любимая Аликом ковбойская песенка, исполняемая очень нестройным дуэтом под цокот копыт: «Хорошо в степи скакать, свежим воздухом дышать». Потом к песенке присоединились возмущённые крики, милицейский свист. Ребята, которые ещё держались на ногах, в том числе хозяин дома, выскочили выручать певцов. Вернулись одни. Выяснилось, что друзья вдвоём оседлали одну лошадь и гарцевали на ней и теперь у них проблемы с милицией. Услышав это, девочки посмотрели на меня с насмешливым сочувствием. Я же подумала: «Мальчишка, какой мальчишка! Да не жена должна быть рядом с ним, а мама».

Когда мы шли к электричке, Гена остановил меня, пропустил вперёд остальных и сказал, сильно заикаясь, что бывало у него во время волнения:

– Ирочка, ну зачем тебе сдался этот Омск? Ты губишь себя! Одумайся, пока не поздно. Выходи за меня замуж, и мы вместе поедem в Воронеж. Ты, знаешь, ведь я оказался однолюбом. Помнишь, как я в первый месяц нашей учёбы признался тебе на трамвайной остановке? Тогда ещё трамваи ходили по Пушкинской площади. Из-за тебя я хоккеем занялся, из-за тебя его и бросил...

– Омск – моя судьба, Гена, и ты мог тоже распределиться туда, но предпочёл Воронеж. А теперь бежим, а то опоздаем на электричку.

Отказывать трудно, очень трудно... И по правде говоря, у Гены на распределении не было выбора: на него единственного пришёл именной запрос из Воронежа, но не без его ведома.

Поздним вечером я уехала из Москвы в Моршанск, хотя очень хотелось принять участие в Международном фестивале молодёжи и студентов, но желание подольше побыть с родными перед долгой разлукой пересилило..

Меня встретил Омск в начале сентября отличной, прямо южной погодой, поразил нарядной поднимающейся ступенями от реки Оми улицей, по обеим сторонам которой росли экзотические пальмы. Позднее я узнала, что эта самая красивая улица города была построена при Колчаке (без пальм, конечно). Большинство же улиц имело деревенский вид: одноэтажные деревянные дома,

глухие из досок заборы между ними, отсутствие тротуаров. Однако заводской посёлок держал городскую марку – и дома многоэтажные, и асфальт, и скверы посреди улиц.

Заводские корпуса прятались в саду. Повсюду на территории завода был образцовый порядок, мне бросилось в глаза пристрастие заводчан, а скорее заводского начальства к цветам. В кабинете главного инженера висели большие цветные фотографии заводских зон отдыха, которые можно было принять за уголки каких-то южных санаториев: опять-таки на них были пальмы и яркие, пышные цветы. В этом кабинете мне опять пришлось делать выбор. Оказалось, что меня могут принять в технологический или конструкторский отдел, в сборочный или заготовительно-штамповочный цех. Я выбрала заготовительно-штамповочный и, видимо, этим так удивила главного инженера, что он сам пошёл меня представлять цеховому начальству. То в свою очередь удивилось почёту, оказанному молодой специалистке, и заподозрило меня в родстве с главным инженером, какое-то время я считалась даже его племянницей.

Как-то через много-много лет на одной из встреч с читателями я рассказала, что жизнь очень часто ставила меня перед выбором, и одна слушательница заметила: «Судьба благоволила к вам – и позволяла вам выбирать, что даётся далеко не каждому, вы не умели этого делать».

В общем, в результате уже не первого и, наверное, в очередной раз неправильного выбора я очутилась в технологическом бюро цеха № 2, в молодёжном коллективе, насчитывающем вместе со мной шесть человек, обоего пола поровну.

Кроме меня, высшее образование имел ещё Володя Скобликов, приехавший двумя годами раньше из Куйбышева, который он уже тогда называл Самарой и очень скучал о нём. Там тоже был авиационный завод, но выпускникам-аборигенам места на нём не хватало. Володя был красивым, толковым, серьёзным молодым человеком, склонным к меланхолии и мрачному юмору. Добросовестный работник и знающий специалист он, тем не менее, тяготился постоянным общением с цеховым персоналом и, уходя домой, частенько говорил: «Ну вот, день, наконец прошёл, а завтра опять эти “свиные рыла”». Ему с его интеллигентностью и малообщительным характером следовало бы не в цехе работать. Он уже несколько лет был женат, но не имел детей и, когда заходила о детях речь», замечал строчкой из стихов Веры Имбер: «Дети – это гадость, когда много их». Катя подозревала, что он лукавит.

Катя Зайцева тоже была человеком семейным, имела мужа, дочь и жила, кажется со свёкрами. У неё были хороший, неунывающий характер, привлекательная внешность и трудолюбие. Оба они, Володя и Катя, мне сразу понравились, и я в них не разочаровалась. Мы сидели в одном ряду друг за другом. Я у двери, Володя подпирал стену, Катя между нами. Второй ряд начинал наш начальник, Володя Глухов, сидевший лицом к нам, потом некий юноша и молодая, но редко появляющаяся у нас женщина, имён которых я не помню.



Однажды Володя, который ведал рационализацией, сказал мне:

– Не разбрасывай своих «светлых мыслей по цеху» – они рацпредложениями оборачиваются, между прочим, под другим именем.

– Ну и хорошо! – отмахнулась я.

– Хорошо то – хорошо, да ничего хорошего. С технолога заместитель стружку снимет и премии лишит. Наша работа и заключается в основном в том, чтобы мы упущения разработчиков технологий выявляли и устраняли, то есть на месте технологии корректировали. А ты своими бездумными советами, которые даёшь кому попало, ставишь своего коллегу под удар вместо того, чтобы шепнуть ему на ушко о недоработке.

Я как-то об этом не подумала. Любое рацпредложение в основе своей имеет чью-то недоработку. Закреплённые за определёнными участками технологи не имели права подавать рацпредложения, связанные с этим участком, на другом – пожалуйста, если не дорожишь хорошими отношениями с товарищем. То есть это «пожалуйста» таило в себе некую безнравственность, и, понимая это и не придавая большого значения своим «светлым мыслям», я, бывая в цехе по своим делам, заглядывала и на чужие участки, где работали комсомольцы. Там порой замечала какую-то недоработку и подсказывала, как её устранить, не предполагая, что кто-то эту подсказку оформит как рацпредложение. О рацпредложениях я слышала с детства. Знала, что иногда мысли одних оформляют документально, приписывая себе, другие. Мама не раз этим возмущалась, рассказывая отцу, что очередная его идея уже превратилась в рацпредложение. Отец смеялась, объяснял, что как начальник цеха (позднее как главный инженер) не имеет права подавать рацпредложения на своём производстве. Какие-то его идеи реализовались на межотраслевом уровне. Тогда он значился автором, приобретая на пути к реализации, внедрению, ещё и соавторов.

В общем, с рационализацией в цехе для технологов сложилась странная ситуация: предложений они подавать не могли, чтобы не подвести товарищей, но обязаны были их подавать, чтобы выполнить по ним план. Как-то мы всё-таки выкручивались. Завод изготавливал ещё и «более десятка наименований изделий гражданского назначения и ширпотреба». Помню из них стиральную машину «Сибирь». Прототипом её была какая-то «иностранка», выдававшая бельё уже выглаженным. Но у нас решили, что не следует так баловать советских женщин, да и ставить агрегат, который стирает, отжимает и гладит, в наших квартирах, комнатах, будет некуда, а потому можно ограничиться одной стиркой. Помню ещё огромный бидон, флягу для молока, из пищевого алюминия, потому что подавала на его изготовление рацпредложение, и лодочку из стеклопластика, которая делалась не в нашем цехе. Она проходила испытания в бассейне на территории завода и запомнилась мне тем, что преобразила заводской пейзаж, придала ему романтичность. Водная гладь в обрамлении плакучих ив, лодочка на ней – прямо живописный мотив в духе Григория Сороки.

Больших проблем на первых порах в цехе у меня не возникло. Как должное я приняла производственную обстановку с обилием оборудования (многотонные прессы, копировально-гибочные машины, выколочные молотки), с разного рода оснасткой, со звуковой какофонией, из-за которой приходилось изъясняться едва ли не криком. Не смутило и множество разных людей, с какими необходимо общаться. Но я выросла в заводской среде, поблизости от заводов. Отец, влюблённый в производство, водил меня на них периодически. И начал для меня свои просветительские экскурсии, когда я ещё была дошкольницей. Поэтому и на первом курсе я легко отличала сверлильный станок от станка фрезерного, долото от стамески. И в новых цеховых условиях не растерялась, не боялась запачкаться. Главное – после института не чувствовала себя «молодым учёным ослом», которого постоянно учит уму-разуму неучёная, но опытная лошадь. Это образы из анекдота о молодых специалистах, выпускниках институтов и неучёных, но опытных, превосходящих их в знаниях производственников. Сомнительность этого популярного анекдота опровергалась же на заводе уже тем, что имелись на нём вечерняя школа, техникум и институт. И кое-кто из цехового руководства получил в них теоретическую подготовку. Начальник цеха окончил техникум, мастера ограничились семилеткой, но были среди них и такие, кто остался при своём некогда обязательном четырёхлетнем образовании. Кроме Скобликова и меня, ещё два заместителя начальника цеха имели высшее образование, но отнюдь не превосходили его в деловых качествах.

Один из них работал на заводе со дня его основания. Приехал в эвакуацию, да так и прижился в Омске. Был он, на мой тогдашний взгляд, человеком пожилым и, наверное, поэтому крайне беспокойным. Познакомившись со мной, он сказал: «Я буду называть вас по имени и отчеству и всем мастерам накажу обращаться к вам так же. У нас порядок такой: тех, у кого высшее образование, так называть, остальных – по имени». И ведь, в самом деле, такой порядок существовал, и Катю, которая была лет на пять старше меня, называли по имени, и наш начальник техбюро не удостоился отчества.

Второй заместитель запомнился мне тем, что предложил мне дружбу и свою поддержку. Взамен я должна была сообщать ему, что о нём говорят в цехе. «Мы люди с вами здесь новые, – сказал он скорбно, – у нас обязательно появятся недоброжелатели и нам нужно держаться вместе». Не знаю, как у него, у меня недоброжелатель появился – в его лице.

Работая в цехе, где примерно насчитывалось 200 человек, одних только комсомольцев было 100, я усомнилась в том, что цеховому руководству необходимо высшее образование, да и технологам – тоже. То, чем мы занимались с Володей Скобликовым, не отличалось от того, что весьма усердно и квалифицированно делала Катя, окончившая техникум. И наши мастера с четырьмя классами за плечами были на своём месте, разве читать чертежей не умели. Да и не нужно им было такое умение:

приходил из плазового цеха конструктор и всё, что было необходимо для зрительного представления о детали, наносил на болванку.

Располагая такими вот кадрами, наш 2-й цех успешно выпускал заготовки (части фюзеляжей, крыльев, гондол и другие детали), всё то, что создаёт образ самолёта. Проходя через другие цехи, эти изделия превращались в прекрасный 50-местный пассажирский самолёт ТУ-104, способный развивать максимальную скорость более 900 км/час и преодолевать расстояние в 2650 километров.

В 1957 году, когда я стала работать, из завода вышло, вылетело, 12 самолётов. Из них 8 модифицированных 70-местных ТУ-104 А. Три машины предназначались Чехословакии. Бывая по делам в цехах агрегатной и, очень редко, общей сборки, я с радостным удовлетворением воспринимала эти чудесные превращения: «Радуюсь я – это мой труд вливается в труд моей республики».

Согласно наставлениям Василия Фёдоровича я продолжала работать над своим проектом. Суть его заключалась в том, чтобы в условиях малосерийного производства сократить ручные работы, то есть часть объёмных деталей делать не выколоткой на болванках, как это делалось в нашем цехе, а в штампах. Для чего нужны были специальные штампы, в которых пуансоны и матрицы будут не металлическими, а из пластмассы, так называемой термо-литейной композиции (ТЛК). Старшие товарищи, руководство цеха, идею одобрили. Сначала решили реализовывать её как рацпредложение. Потом оказалось, что она тянет на изобретение – и дело застопорилось.

А между тем Василий Фёдорович в письмах систематически интересовался, как у меня идут дела с внедрением. Под его руководством теперь делала диссертацию Лида. Умная была девочка Лида, умная и собранная. Окончила институт с отличием, осталась учиться в аспирантуре. Я ей всегда завидовала. Завидовала её усидчивости, способности углубляться в изучаемый скучнейший предмет до самого корня, завидовала кольцу с бриллиантом и серёжкам, хотя сама боялась проколоть уши, завидовала, что у неё есть Генка, которого я не одобряла, и стала завидовать тому, что она готовит диссертацию под руководством Васи. А тот как бы мне в утешение написал: «К сожалению, творческий альянс с вашей подругой не сложился: у неё прекрасная память, но, увы, совершенно нет воображения. А без него в науке делать нечего. Впрочем, она в науку и не стремится – мечтает красоваться перед студентами на лекциях. И только для этого ей нужна степень». Желая мне помочь с реализацией проекта, он сообщил, что постарается организовать на омский завод выездную практику и приехать месяца на полтора в середине января. Плану этому не суждено было сбыться.

Во-первых, в конце декабря я вышла замуж за конструктора плазового цеха, Николая Ситникова. Ему моя переписка с бывшим преподавателем не понравилась. Пришлось мне её прекратить. Моему союзу с Николаем предшествовал двухмесячный служебный роман. Мы познакомились в октябре возле болванки, которую он пришёл размечать. Я увидела незнакомца в

кожанном пальто, в кокетливо надетой набекрень кепке, из под которой выбивалась пшеничного цвета прядь. При этом брови у незнакомца были чёрными, густыми, сросшимися на переносице. И поняла я, что это тот самый блондин, о котором говорил недавно Володя Глухов.

В техбюро мыли косточки заводской красавице блондинке, приехавшей по распределению из Казани и успевшей за год прославиться своими экстравагантными выходками, такими, например, как танец на столе в узкой компании. Компания была узкой, а танец получил огласку широкую. После этого танца, исполненного, как говорили, в натуральном виде, то есть без одежды, заводские поборники нравственности стали осуждать даже внешность красавицы. Кто-то пустил слух, что она блондинка не натуральная, поскольку брови у неё чёрные, а если натуральная, то красит брови. Вот тут-то, заступаясь за красавицу, Володя назвал конструктора из плазового цеха, у которого волосы белые, а брови чёрные, и уж точно, он их не красит. «Исключение из правил», – изрекла натуральная блондинка Катя, помнится, красившая и брови и ресницы.

И вот это «исключение» по-хозяйски что-то наносило на «мою» болванку, не поставив меня в известность. Я накинулась на блондина с претензиями. Выяснилось, что о моём появлении в цехе он ещё не успел узнать, так как несколькими днями раньше возвратился из долгосрочной командировки в Ташкент, куда ездил на авиационный завод передавать опыт, а «болванка» и его тоже. То есть за ним и за мной закреплена одна группа деталей: за ним как за конструктором-плазовиком, за мной – как за технологом. Недоразумение мы уладили. Николай отправился со мной в техбюро, отдал мне листочек изменений. И прежде чем наколоть листочек, как это было принято, я списала информацию с него в специально заведенный мною журнал.

– Зачем вы это делаете? – усмехнулся Николай, как мне показалось, над моей неопытностью. – Тут же всё написано.

– Так надо! – отрезала я, обиженная, и не стала объяснять, что вынуждена была завести журнал. Я уже столкнулась с исчезновением одного такого листочка, и мне пришлось конфликтовать с одной разъярённой дамой из 10 цеха.

В тот же вечер я встретила нового знакомого, в магазине, куда отправилась в поисках варежек, – пошёл вдруг снег, внезапно сильно похолодало, а я, подобно попрыгунье-стрекозе, к зиме не приготовилась. На другой день Николай возник на пороге моей комнаты в общежитии, хотя адреса я ему не давала. Повод явиться незваным у него оказался значительным – он принёс прекрасные варежки из верблюжьей шерсти. Мне, привыкшей получать от молодых людей цветы, конфеты и книги, такой дар показался высшим проявлением заботы, без которой так плохо было в городе, ещё не ставшем своим. Потом я заболела каким-то новоявленным гриппом, и Николай выхаживал меня. В общем, ничем другим я не могла ему отплатить за постоянную заботу, как выйти за него замуж, да и воспоминание об инциденте с кабардинским женихом к этому обязывало.

Во-вторых, и это всё-таки главное – в самом конце года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР: Омскому машиностроительному заводу (так именовался официально завод или ещё абонементный ящик № 7) поручался выпуск ракеты Р-12, конструкции М.К. Янгеля. Самолёты отодвигались на задний план. Теперь уже в цехе было не до моего проекта. Вот тебе и право выбора!

Правда, ракеты перестали к этому времени восприниматься мною только как оружие. Советская ракета 4 октября 1957 года вывела на орбиту вокруг Земли первый искусственный спутник. А уже 3 ноября отправилась в космос с помощью ракеты на «Спутнике-2» собака Лайка. Хотя и пожалела я бедную собачку (ей не суждено было по условиям эксперимента вернуться), но испытала при известии об этом событии злорадство: «Вот вам, Надежда Владимировна, доказательство тому, что не так уж много я нафантазировала в сочинении. А ведь десяти лет ещё не прошло. Может, к определённом мною сроку и человек в космос отправится».

В общем, хочешь – не хочешь, а пришлось мне узнать, что ракеты от самолётов отличаются не только тем, что «крылышки у них поменьше, а скорость побольше», а прежде всего материалами, из каких изготавливаются. В институте о них я не слышала. Они оказались настолько секретными, что, когда в гальваническом цехе ненароком утопили маленькую деталь, пришлось гальваникам раствор из ванны спускать, дабы удостовериться, что деталь не попала в руки врага.

Очень отличающиеся от тех, из которых изготавливались самолёты, новые материалы потребовали иной оснастки и оборудования. А в институте «это нам не задавали, это мы не проходили». Пришлось самостоятельно постигать новые технологические тонкости по техническим документам ОКБ, находившемся в Днепропетровске, да ещё обучать рабочих. Пришлось работать в обстановке усилившейся секретности, порой совершенно неоправданной. В конце 1958 года была изготовлена и прошла заводские испытания одна ракета, увидеть которую из-за секретности мне не довелось. И выпустили омичи 21 самолёт ТУ-104 А.

Эти данные я привожу из газеты «Заводская жизнь» от 24 июля 2001 года. Во время работы я их не знала. Царившая атмосфера секретности приводила к тому, что заводчане, вроде меня и моего мужа, сведения, скажем, об испытании самолёта получали от не связанных с нашим производством соседей: «Говорят, завтра у вас самолёт будут испытывать». Потом стали говорить за стенами завода, что в самое ближайшее время изготовление самолётов на нём будет прекращено. И действительно, это случилось в 1959 году, но нас в Омске уже не было.

Когда завод только начал специализироваться на новой продукции, у меня появилась возможность поменять место работы. К нам зачастили из Днепропетровска работники ОКБ и предприятия, выпускающего ракеты, передавать опыт. Попутно они принялись переманивать к себе кое-каких коллег. Делалось это официально, приём на новом предприятии оформлялся как перевод. И мне предложили поменять Сибирь на Украину. На Украине я родилась, прожила год и с тех пор по

паспорту значилась украинкой, а моя младшая сестра, родившаяся в России, русской. Возможно, моя национальная принадлежность и послужила поводом для предложения. К тому времени я уже попробовала сорокаградусных омских морозов, от которых трещали деревянные заборы, поняла, что и сама могу затрещать, и всё-таки отказалась. Николай тогда кончал на заводе институт, к тому же я надеялась, что самолёты нам оставят.

Было ещё предложение перейти на общественную работу, – стать освобождённым секретарём заводского комитета комсомола, действующего на правах райкома. К тому времени я уже год возглавляла комсомольскую организацию цеха, и меня выбрали комсоргом на второй срок. Но не для того я кончала технический вуз, чтобы профессионально заниматься партийной работой. Да и в партию вступать не хотела, не хотела связывать себя пожизненными путями, претило царившее в её рядах ханжество, да и доклад «О культуре личности» не забылся. И всё-таки в моей дальнейшей жизни бывали моменты, когда я (минутная слабость!) жалела, что пренебрегла партийной карьерой. Это, когда мёрзла на автобусной остановке, а мимо на служебных машинах пролетали какие-то руководящие партийные дамы. Но сожаления придут много позднее и не в Омске. Тогда же в цехе сложилась такая обстановка, что я не видела иного выхода из неё, как бежать с завода.

Работать на режимном предприятии вообще трудно. «Театр начинается с вешалки», а предприятие, которое именовалось «почтовый ящик», начиналось с проходной, почему-то охраняемой не мужчинами, а бдительными, свирепого вида, вооружёнными женщинами. И эти женщины пускали работника завода на территорию только в строго определённое время. Опоздал – изволь идти к начальнику охраны объясняться. Выйти до окончания рабочего дня – тоже проблема.

И, как дамоклов меч, висит над заводчанином требование секретности, а в чём состоит секрет, он не знает. Причём иногда это секрет Полишинеля. Меня снабдили в институте разными верительными бумагами и сообщили, что завод именуется «абонементный ящик 7», так-де и следует о нём в городе справляться – в институте не знали, где именно завод находится. Добравшись до Омска, я прямо на вокзале принялась спрашивать, как мне проехать к этому самому «ящику». Никто про него не слышал. Отправилась в милицию – и её работников поставила в тупик. Потом кто-то предположил: может, это авиационный. Мне пришлось нарушить секретность. «Так он называется “Машиностроительный”! – обрадовался своей осведомлённости милиционер. – Спросите в трамвае, на какой остановке сходить, вам каждый укажет». В трамвае о заводе с названием «Машиностроительный» никто не знал. Потом одна беспокойная старушка, очень хотевшая помочь девочке, предположила: «А, может, это авиационный? Так их там рядом два – на одном моторы делают, на другом – самолёты». И тут же все стали объяснять, где сойти, как пройти к главной проходной. Позднее, когда завод перестал выпускать самолёты и перешёл на ракеты, он стал называться «Авиационным»...

К жёсткому режиму и соблюдению секретности на заводе добавлялось ещё некое условие работы. В советское время оно ни в коем случае не могло считаться частью «потогонной системы». И всего на всего означало, что по первому требованию начальника работник, в данном случае технолог, должен был трудиться допоздна, порой без выходного, единственного в то время, и без надежды на «отгул» – тогда никто из нас и слова такого не знал. Начальник цеха буднично входил в техбюро и сообщал: «Сегодня работаем до 10 вечера – звонил Никита Сергеевич. Звонил Хрущёв, конечно, не начальнику цеха, а директору, однако на звонок следовало реагировать немедленно. Видимо, звонки способствовали тому, что в первом квартале 1959 года была «собрана установочная партия из 4 ракет Р-12 (8К63), испытания проведены на полигоне Капустин Яр и завершились в целом успешно. За год собрано 90 Р-12, при плане – 80. Объявлено о начале освоения заводом новой ракеты М.К. Янгеля – Р-16, 8К64 (8К64У)» (данные тоже из указанной выше газеты).

Без выходных технологи оставались и не в связи со звонками Хрущёва, а потому, например, что кто-то из городского начальства вспомнил: под снегом осталась неубранная капуста – и нас посылали её убирать или, уже по велению заводского начальства, чистить снег на территории завода. Вышестоящие товарищи считали, что такое отвлечение инженерно-технических работников от производства на нём не отразится. Эти самые ИТР наверстают упущённое после рабочего дня: зря, что ли, у них отпуск в два раза длиннее, чем у рабочих. В газете как должное приводится такой факт: в 1958 году «заводчане помогали селу, строили жилые дома и объекты соцкультбыта».

Только здесь, на заводе, я убедилась: рабочие и на самом деле составляют в нашей стране господствующий класс. Сами вчерашние рабочие, мастера, старшие мастера, начальники смен, начальник цеха неизменно защищали их интересы, сводившиеся в основном к рублю. Рабочие получали раза в три больше технологов. Работа у них была сдельной, и оплата её зависела от того, как был составлен технологический процесс.

В разработке техпроцессов на изготовление деталей ТУ-104 наш коллектив технологов почти не участвовал. Выпуск самолёта осваивался на Харьковском авиазаводе, и первый собранный там серийный ТУ-104 поднялся в воздух в ноябре 1955 года. Там же разрабатывалась технология, так что мы имели дело с уже готовыми документами и только следили за правильностью их исполнения и устанавливали причины случившегося брака. Последнее – дело очень не лёгкое. Технолог уподобляется врачу, которому спешно нужно диагностировать болезнь, а под рукою нет анализов – одна интуиция. Мне не раз приходилось выяснять причины брака изготавливаемых в цехе деталей для ТУ-104. А ведь первый самолёт был собран на омском заводе ещё в июле 1956 года, «пробный полёт осуществил 3 августа лётчик-испытатель Ю.Т. Алашеев», то есть за год до моего устройства на завод. Более чем за год рабочие должны были усвоить операции, знать их на зубок, и, тем не менее, нет-нет, да возникал вдруг брак. Обнаружить его могли, как в своём, так и в другом цехе, но в обоих

случаях следовала за этим для технолога малая или большая нервотрёпка. И всегда она начиналась с главной претензии: «Что ты тут написала?» Встревоженные технологи, сгоряча принимаясь оправдываться, вспоминали, что техпроцессы разрабатывались не в цехе. Потом частенько выяснялось, что виноват непосредственный исполнитель. Так, в одном из агрегатных цехов на обшивке обнаружился «хлопун». Причина его была ясна: обшивку приклепали меньшим, чем следовало, числом заклёпок, – и сразу претензии к инженерным службам: это конструктор неправильно рассчитал количество заклёпок или технолог ошибся. Ошибся клёпальщик.

Иначе обстояло дело с ракетами. Тут уж мы начинали их изготовление и старались не упасть лицом в грязь, обеспечить высокое качество детали и скорость её получения. Но, как известно, теория не сразу уживается с практикой, и к нам на антресоли, где помещалось техбюро, то и дело поднимались разъярённые мастера, иногда и рабочие – требовали увеличить количество операций в техпроцессе. Звучало знакомое:

– Ну что ты тут написала? – реже говорилось «написал». – Это же невозможно сделать за одну операцию! – И после нашего протеста следовало сакраментальное требование: – Иди, покажи, если такая умелая!

А многие операции были просто не по женским силам, хрупким девушкам-технологам не по плечу. В таких критических случаях выручали или начальник бюро труда и заработной платы, или начальник нашего техбюро Володя Глухов. Первый был прежде рабочим в этом же цехе, второй – просто сильным, ловким парнем. Они успешно иллюстрировали операцию, к тому же за меньшее, чем на неё отводилось в техпроцессе время.

Надо сказать, что в большем времени было заинтересовано и цеховое начальство, а потому нормировщики всегда предусматривали некоторый его запас, и мастера это знали. Но такая уж психология у мастеров – максимально облегчить работу на своём участке.

Не помню повода, из-за которого возник конфликт между цеховой администрацией и техбюро. Но начальник цеха, а больше два его зама ополчились против нашего Володи Глухова и решили его снять. Но прежде поочередно предложили Володе Скобликову и мне занять его место. Мы отказались, во-первых, из чувства солидарности, во-вторых, потому что понимали: Володю нам не заменить. Он был хорошим начальником. Не давил на нас, позволял чувствовать себя самостоятельными, хорошо знал производство и никогда не подставлял подчинённых. Были у него, конечно, недостатки (у кого их нет?), и главный – тяга к спиртному, очень, однако, распространённое тогда явление в Омске. В общем, начальства мы не поддержали – конфликт усилился и распространился уже на всех технологов.

Гасить его прибыл в цех главный технолог завода. Вообще-то он был «небожителем» и связь с нами, технологами, поддерживал через работника техотдела, куратора. Несколько месяцев при мне



им был Виктор Разумилов, однокашник Скобликова по институту, толковый, интеллигентный, ироничный. Мне было жаль, что он отправился в Днепропетровск. Он умел шуточками-прибаутками разрядить конфликтную обстановку. Но у него были больные лёгкие, и омский климат ему не подходил. Кто заменил его и заменил ли, не помню. Главный технолог явился сам, и, кто его пригласил, не знаю. Собрались в кабинете начальника цеха. Начался, как говорят теперь, «разбор полётов».

Нашим бы цеховым мэтрам сказать нам честно: «Вы переусердствовали, ребята, в своём желании обеспечить высокую производительность, поступили подобно неопытной хозяйке, потчевавшей гостей по принципу – “что есть в печи, на стол мечи” и забывшей при этом, что гости уйдут, а свои голодные дети останутся. Вы, ребята, не учли того, что нам нужно не только план выполнять, но и перевыполнять его, рацпредложения подавать. Вы же, такие умные, рационализации вообще не предусмотрели». Через несколько лет именно так меня наставлял директор одного рязанского завода, принимая у меня проект цеха пластмасс. Начал же он с фразы: «У меня за 140 рублей никто пресовать не будет». Для справки: я, исполняя обязанности в это время главного инженера проекта, именно столько и получала, работая, как говорится, не покладая рук. Его же «трудяги» во время смены часами курили на лавочке у корпуса. Но директорской откровенностью я прониклась и внесла в проект коррективы. Директор, правда, был очень авторитетным, известным в городе человеком. А наши мэтры, подозреваю, страдали комплексом неполноценности, к тому же, будучи коммунистами, не могли откровенно заявить, что порой следует ловчить, а потому прибегли к обвинениям. Начальник техбюро обвинялся в том, что после работы пьёт и на него поступил откуда-то «сигнал». Володя Скобликов часто болеет и, ссылаясь на нездоровье, уклоняется от сверхурочных работ. Катя Зайцева нередко берёт больничный по уходу за ребёнком. Обо мне же было сказано, что я оторвалась от коллектива и противопоставила себя ему. Вот тут главный технолог, сохранявший прежде совершеннейшую невозмутимость, засмеялся и обнаружил очень удивившую меня осведомлённость.

– И когда же она успела оторваться? – сказал он. – Разве не её недавно признали на комсомольском пленуме одним из лучших комсоргов завода, а комсомольцы цеха выбрали комсоргом на второй срок? А их, как мне помнится, едва ли не половина цеха.

В общем, он принял нашу сторону и заявил, что не даст технологов в обиду. Но его поддержка уже ничего не могла для меня изменить в отношениях с цеховым начальством. Я видела только один выход из сложившейся ситуации – бежать с завода, бежать из города, который, в общем-то, мне нравился.

Наступали опять сибирские холода, какие я с трудом переносила, хотя ездила на работу в меховой шубе и валенках. Валенки, катанки, были основной обувью омичей зимой. Дамы не снимали

их даже в театре и весьма оригинально выглядели в валенках и панбархатном а то и крепдешинном платье. Мужчины, если им было за сорок, тоже не расставались с этой обувью до весны. Молодые же пижоны, вроде Николая, щеголяли в войлочных ботах, называемых в европейской части страны «прощай молодость». Здесь же можно было бы их назвать «да здравствует молодость».

Важной частью моей экипировки была модная тогда муфта. Я в ней прятала руки, прикрывала ею лицо и терпела муку, доводящую меня до слёз. То лицо жжёт мороз, когда руки в тепле, то руку сводит, когда лицо прикрыто. Непереносимость холода я объясняла себе своим южным происхождением и тем ещё, что жили мы с Николаем далеко от завода – часа полтора до него добирались на трамвае и пешком. Но от мороза страдал и Володя Скобликов, который жил рядом с заводом. Из-за холодов он и невзлюбил Омска. Объяснял, что город неудачно расположен – открыт ветру с Северного Ледовитого океана. А потому советовал мне и летом не очень-то доверять теплу, говорил: «Нырнёшь в Иртыш погожим днём, а потом не вынырнешь – над головою уже лёд».

Кроме холодов, существовала ещё очень важная причина, заставлявшая меня покинуть Омск: необходимо было, пока не поздно, вырвать мужа из его холостяцкого окружения, где первым средством от морозов считались горячительные напитки.

Под самый новый 1959 год мы уехали из Омска, не зная, где найдём работу. Временно остановились у моих родителей в Моршанске, в этом городе работы для нас уж точно не было. Я не собиралась расставаться с самолётостроением и разослала письма своим однокурсникам, надеясь узнать у них, возможно ли устроиться в Подмосковье. Пока ожидала ответа, муж съездил в Рязань, где обосновался наш родственник, и устроился на работу главным механиком кирпичного завода, да ещё и получил квартиру. Самолёты интересовали его меньше, чем меня, и расстался с ними он без сожаления. Выросший в деревне, он больше тяготел к всякого рода сельскохозяйственной и строительной технике. А что касается данного мало связанного с прежней его деятельностью предприятия, то Николай подчинился, видимо, «зову предков»: его дед с материнской стороны владел до Октябрьской революции кирпичным заводом, думаю, сезонным..

Я очень огорчилась – прощайте, самолёты! Но в Подмосковье меня никто не ждал, квартиры не сулил. Кстати, в Омске так и не выполнили условия – дать мне комнату, как это оговаривалось на распределении.

В Рязани мне с работой повезло. Недавно организованный Рязанский проектно-технологический институт (РПТИ) давал объявления о приёме на работу. Среди прочих нужны были инженеры, специализирующиеся на штамповке.

Штамповка оказалась несложной – вырубка, гибка, – детали предназначались для вычислительной техники. Институт пока специализировался на счётно-аналитических машинах.

Группа технологического отдела, в которую я попала, опять была молодёжной, но с преобладанием специалистов, имеющих высшее образование. И опять во главе её стал человек такого не имеющий, зато обладающий авантюрным характером, представительной, профессорской внешностью (седой, благообразный) и военной выправкой, поскольку прежде был авиационным техником и служил на аэродроме. Ничегошеньки не понимающий в штамповке, он, звали его Борис Владимирович, верил в силы и способности своих подчинённых, смело подписывал составленные ими документы и полагал, что его милым дамам по плечу не только способы обработки металлов. А потому вдруг заключил сепаративный договор (только для нашей группы) на разработку технологий изготовления деталей из пластмасс. Мне пришлось взяться за это дело, поскольку в МАТИ пластмассы, неметаллы, я изучала не менее основательно, нежели штамповку.

Пластмассы тогда входили в моду. Во время моей учёбы в МАТИ там существовали две группы так называемых «неметаллистов». Предполагалось, что их выпускники как раз займутся внедрением новых неметаллических материалов на авиационных заводах. Но и «самолётчиков» пичкали знаниями по этим «неметаллам». Читала лекции маленькая изящная женщина, которая порой отвлекалась от предмета и рассказывала о себе. И эти отвлечения тоже некоторым её слушателям пошли на пользу. А вспоминала она то, что поздно, едва ли не в 30 лет поступила в институт, закончила его, сделалась кандидатом, потом доктором технических наук, профессором, и на всё ушло десять лет. Но, конечно, работала, работала, работала. Спала по четыре часа, как Наполеон, который говорил, что больше спят только женщины да идиоты. Чтобы не залёживаться, она отказалась от постели и спала в кресле.

На её примере и Андрея я сделала вывод: чтобы достигнуть чего-то в творчестве, надо не спать. На такое я не была способна. Но неметаллы изучала добросовестно. Да и обстановка на кафедре этому способствовала: была спокойной, доброжелательной, домашней. Практическая работа тоже носила домашний характер: изготовление деталей из пластмассы и резины было похоже на выпечку пирожков.

В общем, в РПТИ я оказалась единственным специалистом в этой новой области, да и в городе их было не много. Как с представителями заказчика работала потом с Верой Гаврюшиной – тоже выпускницей МАТИ, с Александрой Зайцевой и Серафимой Метёлкиной, они обе, кажется, высшего образования не имели, зато обладали хорошим опытом работы на производстве.

Однако я недолго тогда занималась пластмассами: ушла в декретный отпуск, 19 марта 1961 года у меня родился сын.

Домой с ребёнком я возвратилась только 11 апреля. На следующий день позвонила подруга-коллега. Я разговаривала с ней, стоя у окна. За окном была хмурая, совсем не весенняя погода, шёл мелкий, сероватый снег, падал на уже освободившуюся от сугробов землю. Вдруг по радио раздались сигналы важного сообщения

– Ой, важное сообщение! – воскликнула я встревожено.

– Ничего страшного, – успокоила подруга, – это человек полетел в космос. Но Коля сказал: он уже приземлился.

(Коля – муж подруги – работал в обкоме партии и мог располагать особой информацией.)

– Ну всё, всё, Анечка! – Я повесила трубку Знакомый голос Левитана радостно-торжественно говорил:

– «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту»

Я плакала. В комнате запахло сиренью. Левитан продолжал:

– «Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических республик майор Гагарин Юрий Алексеевич».

Исполнилась, исполнилась многовековая мечта человечества! Свершилось моё нечаянное пророчество! Пусть полетел не одноклассник, но мой современник, мой ровесник, «парень из нашего города».

Я подумала о своём сочинении. Помнит ли о нём Надежда Владимировна и, если помнит, что сейчас испытывает: раскаяние, сожаление, что не захотела мне поверить, или удивление. Помнят ли наш спор с ней мои одноклассники, сочинения не читавшие, но уверенные тогда, что оно глупость? Ответов на свои вопросы я не получила. Не нашла времени, бывая по несколько раз в год в Моршанске, навестить Надежду Владимировну в её маленьком доме, запирающем тупиковый переулок улицы Сакко и Ванцетти; не встретила со своими одноклассниками – разбросала нас судьба по разным городам.

А судьба между тем не захотела отпускать меня от ракет. Когда я оказалась в Рязани, то и не предполагала, что она с космонавтикой, с ракетостроением связана не только тем, что в ста километрах от неё в селе Ижевском родился «первооткрыватель космических трасс» Константин Эдуардович Циолковский и потом некоторое время жил в самом городе. По состоянию здоровья он вынужден был заниматься самостоятельно. Однако экзамены на звание учителя уездных училищ с правом преподавать математику сдавал экстерном в Рязанской мужской гимназии.

Постепенно я узнавала, что в Рязани ещё «в 1957 году была обустроена одна из первых в стране станций оптического наблюдения за искусственными спутниками Земли», в городе есть и предприятия, имеющие отношение к космонавтике. Выяснилось даже, что там трудятся по распределению выпускники МАТИ и среди них знакомые мне однокурсники с технологического факультета. Когда же после декретного отпуска, года через полтора, я вернулась в РПТИ, то оказалось, что возглавляемая Борисом Владимировичем группа работает на одном из таких предприятий.

Опять была проходная с вертушками и бдительными охранниками-женщинами. Опять секретность, а в чём состоит этот секрет – тайна за семью печатями. Но в сумочках и карманах мы стали носить невзрачные бумажки-четвертушки, удостоверяющие наличие у её владельца некоей формы допуска. С удостоверениями этими из-за их невзрачности происходили разные курьёзы, лишаящие покоя их владельцев. Так, одна моя сослуживица, приехав из командировки, где требовалось это удостоверение, стала чистить сумочку от ненужных бумажек, вроде использованных железнодорожных билетов, и вместе с ними выбросила в мусорное ведро и этот важный документ, а ведро опорожнила в мусорный ящик во дворе. Дома почти сразу опомнилась и побежала во двор. От ящика уже отъезжал мусоровоз. Она остановила его, объяснила шофёру своё несчастье и вместе с ним поехала на городскую свалку. Ей повезло – бумажка нашлась. Другая сослуживица, не глядя, использовала «допуск» в качестве стельки, когда в туфле обнаружился гвоздь.

Разумеется, эти истории рассказывались в очень узком кругу сослуживиц скорее не как курьёзы, а как предупреждение – держать ухо востро. Домочадцы «героинь» едва ли об этих случаях знали. О наших производственных делах, как правило, мы дома не распространялись, вопреки бытовавшему шутивому представлению, будто советский труженик дома говорит о работе, а на работе о доме. Что касается разговоров о доме, то это была сущая правда – женщины находили время поговорить, хотя работы было тогда много, о детях, о мужьях, о тряпках, мужчины откровенничали в курилках и обсуждали внешнюю политику. Внешняя политика женщин тоже очень волновала, но они о ней не говорили, а решительно действовали. Моя подруга, убоявшись Карибского кризиса и того, что за ним может последовать война, сделала аборт.

О работе же дома женщины говорили весьма скупой и очень выборочно, да и не о самих делах – рассказывали о взаимоотношениях между коллегами, об анекдотичных случаях, происходивших с ними самими во время командировок. Приведу два случая, которые в своё время я поведала домочадцам.

Приехали мы с Борисом Владимировичем, тогда руководителем уже не группы, а сектора, в какое-то московское весьма солидное и закрытое заведение перенимать опыт. Мне нужно было что-то узнать о переработке новой марки пластмассы, ему – о порошковой металлургии, какой он хотел озаботить своих подчинённых, не имеющих о ней представления. Но наш начальник и в новой более высокой должности верил в потенциальные силы своего коллектива и был убеждён, что через пару месяцев будут в нём собственные специалисты, не уступающие в знаниях и умениях сотрудникам лаборатории, куда он направлялся. Прихватил он с собой и меня, намекнув, что, возможно, и мне придётся осваивать этот новый процесс.

Нас встретила заведующая лабораторией, доктор технических наук, пожилая дама. О таких в старинных романах писали: «тонная, со следами былой красоты», в современных же романах не

писали ничего. Она была в синем сатиновом халате. Обычно в подобных заведениях носили белые, но у порошковой металлургии были свои требования. Однако сугубо рабочий халат открывал дорогой кружевной воротничок вневременной (былой и настоящей) красоты, которая подчёркивалась большой из синего прозрачного камня брошкой. «Неужели это сапфир?» – испугалась я. Мой шеф тоже, возможно, чего-то испугался. Повёл себя необычно: уселся без приглашения, да ещё и развалился на стуле, не снял шляпы, которую, как нынче Михаил Боярский, носил в любое время года и к любому костюму, но в отличие от актёра в помещении всё-таки снимал. Мало того, он сдвинул шляпу на затылок, подражая какому-то американскому актёру, изображавшему ковбоя, и принялся «заливать» про успехи нашего сектора в области порошковой металлургии. Что-то где-то он успел прочитать и теперь всё это приписывал нам и, должно быть, при этом путал, как ученик, плохо выучивший урок. Дама была изумлена, дама была шокирована, в ужасе переводила глаза со своего собеседника на меня и слабым голосом тихо восклицала:

– Этого не может быть! Это невозможно!

Борис Владимирович вошёл в раж и не слушал возражений. Когда же одно из них до него всё-таки дошло, возразил с апломбом:

– Что значит – «не может быть»? Да мы это уже внедрили! – И он назвал завод, на котором обосновался сектор. Глаза дамы заняли пол-лица. Их синева коснулась её губ, и дама прошептала:

– И когда же это случилось?

– Да недели две назад!

– Этого не может быть! – возрадовалась дама и сделала паузу, чтобы облегчённо вздохнуть. – Я только вчера вернулась с этого завода. На нём как раз была две недели. Ничего подобного там нет! Такого и не может быть...

Борис Владимирович передвинул шляпу на лоб и сказал:

– Извините, милые дамы, я пойду покурю.

В лабораторию он не вернулся. Я осталась у дамы в заложницах. Она смотрела на меня так, как смотрела бы, наверное, на Лжедмитрия II, княжну Тараканову и прочих вошедших в историю самозванцев – с любопытством, настороженностью и брезгливостью – уж не шпионка ли перед ней? Я поспешила объяснить. Сказала, что мы отнюдь не специалисты, только хотим приступить к изучению этого метода; что эскапада моего шефа, скорее всего, вызвана женской привлекательностью начальника лаборатории, доктора технических наук – он ожидал увидеть в этих должности и звании мужчину и, увидев утончённую даму, попросту распустил павлиний хвост.

– Ну, слава богу! – засмеялась польщённая дама. – А я-то уже испугалась, что непрофессионализм проник и в нашу сферу.

Она имела в виду ракетно-космическую отрасль.

Второй случай произошёл уже только со мной на одном из киевских предприятий, куда я отправилась в качестве коммивояжёра от РПТИ, но навязать свою разработку – улучшение качества деталей, изготавливаемых из прессматериала АГ-4. Наш сектор к этому времени уже не только разрабатывал технологические процессы, но и вёл исследовательские работы, благо заводские условия это позволяли. Там была прекрасная лаборатория с высококвалифицированными работниками. Совместно с ними моя группа пластмасс поставила несколько экспериментов, о которых я написала статьи. Одна из них была выпущена отдельной брошюрой Государственным институтом научной и технической информации в серии «Научно-технический и производственный опыт» тиражом в 2885 экземпляров. По тем временам, когда печатная продукция распространялась по всей стране, это был маленький тираж. Полагая поэтому, что до Киева моё сочинение не дошло, я прихватила с собой брошюру в качестве доказательства перспективности предлагаемого метода. Ведь печатное слово убеждает больше устного.

Меня соблаговолил принять главный инженер в день моего приезда. Обычно заводское начальство такого ранга заставляло командированных ждать аудиенции несколько дней. Вальяжный и холёный он сидел за огромным столом и видом своим демонстрировал сознаваемую им значительность. Сесть он мне не предложил, давая этим понять, что время ему очень дорого и беседа наша будет недолгой. На мои верительные документы он не взглянул, положил на кипу бумаг и книг, возвышающуюся на столе справа, спросил барственно с усталым раздражением:

– Ну что там у вас?

Я принялась излагать причину моего появления в его кабинете.

– Ну что вы говорите! – всё так же барственно и устало прервал мою путаную речь главный инженер. – У этого метода уже седая борода: о нём не только говорят, но и пишут. Мы его уже внедряем. – Он порылся в кипе и бросил мне через стол мою брошюру. Я открыла сумочку – и бросила ему вторую, в такой же алой обложке.

– Этот метод разработала я и статью написала тоже! – сказала с запальчивостью.

С лица главного инженера сползла маска монумента, и он любезно с особой украинской мягкостью проговорил:

– Да вы почему стоите? Садитесь, прошу вас. Разговор у нас предстоит долгий.

В результате этого разговора я задержалась в Киеве на несколько дней, потом приезжала на завод ещё раз и смогла побывать в выходные дни у своих родственников в Житомире. Мой родной дядя, тоже на вид очень заносчивый и вальяжный, работал главным инженером на Житомирской музыкальной фабрике. Однако в душе он был художником, остался верен своей юношеской мечте, не реализовавшейся по семейным обстоятельствам. Он вынужден был оставить художественное училище, но не расстался с карандашом и кистью. В зрелые годы увлёкся скульптурой и увековечивал

в мраморе знаменитых земляков, в частности Сергея Павловича Королёва. От дяди я узнала, что Королёв, стоявший во главе разработки ракетно-космических систем, под руководством кого были созданы ракета-носитель и пилотируемый Гагариным космический корабль «Восток», не просто уроженец Житомира. Он какое-то время жил в доме, знакомом мне с самого раннего детства. В этом небольшом коммунальном здании обитал некогда и сам дядя, и жила теперь бабушка. Я, как обычно, остановилась у неё. Она и её соседи продолжали вести привычную, без элементарных бытовых удобств жизнь, какую вели в начале века жильцы дома (и семейство Королёва в их числе), и не очень задумывались над тем, что, по сути дела, живут в музее космонавтики.

Королёва уже рассекретили, и он занял в истории место рядом с Циолковским. Впрочем, его уже не было в живых. Обывательский же интерес к космонавтике, к людям, занимающимся ею, был так велик и остр, что пробивал бреши в глухой стене секретности.

Так, ещё до моего ухода в декрет, то есть в конце 1960 года, в нашей группе обсуждали слух, что маршал артиллерии М.И. Неделин погиб во время аварии на полигоне при запуске ракеты, а не во время авиационной катастрофы, как сообщали средства массовой информации. Потом стало известно: сын Хрущёва Сергей руководит одним из научно-исследовательских институтов, связанных с ракетно-космической отраслью, и невестка трудится, если не там же, то в подобном заведении. Докатившаяся до Рязани молва приписывала невестке скромность, особенно выражающуюся в том, что принадлежность её к великосветскому обществу обнаруживается разве после кремлёвских приёмов, например, необычной причёской с голубой розой из волос. Поговаривали ещё, что в Подлипках у Королёва служил или служит внук Сталина, Евгений Джугашвили. Как в довоенное время у кремлёвских детей модной была авиация (сыновья Сталина и Хрущёва сделались лётчиками), так после войны модной у них стала космонавтика, немислимая без ракет. мода заставила и детей простых смертных следовать за ней – и я оказалась однажды в стенах этого самого, возглавляемого Хрущёвым-младшим института. Кажется, именно там меня не пустили, несмотря на мой допуск, дальше вестибюля. Вышел ко мне консультант, пригласил нужного мне, по его мнению, специалиста. Некоторых командированных он, поговорив с ними очень недолго, сразу отправлял к окошечку отмечать командировку – и до свидания.

Я занималась изготовлением пластмассовых деталей, не имея представления, в каких глубинах ракет и космических кораблей они оседают. По карьерной лестнице не поднялась выше старшего инженера. Верхние ступени уже были заняты моими ещё полными сил коллегами, и, чтобы освободить для себя следующую ступень, нужно было или схватить вышестоящего за ноги, или ждать, когда он освободит её сам: уйдёт на пенсию, перейдёт в другое учреждение. Я предпочитала ждать и работала так, как научилась в детстве, а бывшие отличники в большинстве своём – трудолюбивые ребята, лишённые хищнического инстинкта, потому во взрослой жизни зачастую и уступают место



троечникам. Моя трудовая книжка постепенно заполнялась записями о разных поощрениях, альбом – большими фотография с Досок почёта. И вдруг на удивление себе и зависть многим сослуживцам я получила правительственную награду – медаль «За трудовое отличие».

Замечу справедливости ради, что некоторые из тех, кто завидовал мне, работали действительно не хуже меня и просто не подошли по наградным условиям. Институт получил три награды: два ордена и медаль или орден и две медали – не помню, но по условию выше среди награждённых должны были быть женщина, беспартийный работник и работник в возрасте до 35 лет. И всем этим требованиям отвечала единственная моя персона.

Награда придала мне веса, и меня выбрали депутатом горсовета. Вот тут-то и решила я, что настала пора показаться мне в МАТИ. Я часто бывала в Москве в командировках, но в институт не решалась зайти, хотя и тянуло меня туда. Чувствовала себя изменницей у разбитого корыта: изменила самолётостроению и стала заурядным технологом. Правда, от Лиды, которая защитила диссертацию и работала в институте, я знала, что несколько человек из нашей группы тоже самолётчиками не сделались. Но у них не был Вася руководителем проекта, не возлагал на них надежд. А я очень не хотела, чтобы он думал, будто ошибся во мне как в ученице: и опять работала над диссертацией и собиралась представлять её как соискатель в Рязанском радио-институте, да и прошёл слух, что и в РПТИ соискателям откроют зелёную улицу, так как потребовались собственные учёные.

В одно прекрасное утро я, наконец, оказалась в МАТИ на кафедре самолётостроения. Там мне не пришлось никому рекомендоваться: были прежние преподаватели. Они, конечно, могли меня забыть, но не забыли или сделали вид, что помнят. Заведующий кафедрой, правда, поменялся. Им стал Михаил Николаевич, который мало изменился с тех пор, как мы не виделись: такой же чернобровый и густоволосый и вроде даже в том же сером костюме, что и десять лет назад. Он пошёл мне навстречу, протягивая обе руки и приговаривая:

– Ну, наконец-то, наконец!

Затем последовал вопрос:

– Вы не устали?

– Пока нет, – ответила я, приняв вопрос за продолжение приветствия и оглядывая собравшихся, – Васи, Василия Фёдоровича, среди них не было.

– Держись, Ирунчик! – воскликнула Лида. – Сейчас тебя как почётного гостя в подвал потащат.

– Именно, именно! – весело отозвался Михаил Николаевич. И тон его и та резвость, с которой он действительно направился к огороженному проёму в полу, меня удивили. Я прежде считала его человеком сухим и высокомерным. До разговоров со студентами он не снисходил, лекции читал без лирических отступлений. Это он влепил мне тройку по штамповке, засыпав меня и ещё только одного

студента на теории пластических деформаций. Больше ни у кого он этой теории не спрашивал (читалась она у нас факультативно) и троек больше никому не поставил.

Но теперешний доктор технических наук и заведующий кафедрой о моей позорной тройке не помнил и хвалился удачно приобретённым прессом для штамповки резиной. Пресс и на самом деле был отличным, я искренне похвалила его.

– Я ещё вам одну новинку покажу, – обрадовался похвале Михаил Николаевич и повёл меня в комнату, считавшуюся во время моей учёбы кабинетом заведующего кафедрой.

И хотя я пошла в комнату, в которую прежде даже не пыталась войти (студенты туда не допускались), хотя Михаил Николаевич был на удивление любезен, я всё равно чувствовала себя как в отчем доме. Оказалось, что кабинета, как такового, у заведующего кафедрой нет. Маленькая комната была набита оборудованием. Только у окна стоял письменный стол, за ним сидел в синем халате... Вася? Его сутулая спина, чуть заросший, сидящий, и всё-таки мальчишеский затылок. Это был не Вася.

Новинка же, которой собирался поразить меня завкафедрой, станок для бесшумной клёпки, конструировался и изготавливался в РПТИ. Михаил Николаевич оказался ещё и склонным к розыгрышам.

Потом я рассказывала о себе. Все расположились за длинным столом, за которым обычно принимались зачёты, поэтому у меня усилилось чувство, что я отчитываюсь. Но слушали меня бывшие мои наставники заинтересованно, совсем иначе, нежели слушали некогда студентку, и никто после моего рассказа не произнёс покровительственного: «Не напрасно мы на вас надеялись, вы не подвели нас, так держать...». А я опять вспомнила Васю, как бы он отнёсся к моему рассказу, спросить же, почему его нет, не решилась. И словно прочитав мои мысли, Михаил Николаевич сказал:

– У нас несчастье...

Я догадалась, с кем оно и, боясь, услышать самое страшное, ухватила за край стола. Михаил Николаевич взял мою руку и, успокаивая меня каждой фразой, договорил:

– Лежит в больнице Василий Фёдорович. – (Не умер, значит...) – Ступни ему ампутировали. – (Всего лишь ступни, а могло быть и хуже.) – Так что, если у вас есть время, навестите его, он будет рад вас видеть. Да и врачи считают, что ему необходимы положительные эмоции.

Время у меня, конечно, было – его не могло не быть.

– В провожатые возьмите Лидию Сергеевну, она была у Василия Фёдоровича несколько раз.

Мне никогда прежде не приходилось бывать в больнице. И о ней я думала со священным ужасом, как зверолюди в повести Герберта Уэллса: «Дом страданий, Дом страданий». И вот попадаю в

такой дом, чтобы увидеть слабым, немощным человека, которого любила (да, любила, чего уж скрывать!) здоровым и сильным.

Больничный двор был похож на город: маленькие улицы, номера на корпусах, обнесённые решётками скверы (удивительно, от кого тут отгораживались?), вдали лаяли собаки.

– Откуда здесь собаки?

– Виварий,– объяснила Лида,– нам как раз в ту сторону.

Лай приближался, нарастал и вдруг перешёл в отчаянный душераздирающий вой. «Вивисекция,– ужаснулась я,– как же здесь страшно работать, как здесь страшно жить, если только можно назвать жизнью пребывание в больничных стенах. Бедный, бедный Вася, Василий Фёдорович...»

Подошли к хирургическому корпусу.

– Посиди пока на скамейке, я сейчас его вывезу,– сказала Лида и скрылась в подъезде.

«Почему это вывезу? – не поняла я.– И на чём она собирается его вывозить? Ах да, у него нет ног... У него нет ног, и собаки так ужасно воют. А деревья такие пышные, едва тронутые желтизной, безмятежное небо. Прекрасный день. А у него нет ног. Мне надо будет сказать ему что-то важное, чтобы ему сразу стало легче, и он мог порадоваться солнцу, прекрасному тёплому дню».

Вой всё дрожал и дрожал над больничным двором – я не смогла найти нужных слов.

Лида выкатила кресло-коляску. В нём сидел одетый в коричневую байковую пижаму грузный человек. «Кто это? – изумилась я. – Неужели Вася? Какая чудовищная перемена!» И, чтобы убедиться окончательно, посмотрела на ноги сидящего. Ноги были, были даже ступни, но такие маленькие, такие жалкие в голубых детских тапочках. Комок подступил у меня к горлу, на глаза навернулись совсем неуместные слёзы.

– День-то какой, Ирина Константиновна! День-то какой! – сказал человек в кресле непринуждённо весело и протянул мне руки, ласковые, сильные, с тёмными волосками на пальцах. И тут же исчез больничный двор с его ужасным виварием и мрачными корпусами. Здоровые и сильные стояли мы, Вася и я, на высоком почти отвесном крепостном валу. Он держал меня за руку, я чувствовала тепло его ладоней через мех своей варежки...

– Пойдём в парк? – вернула меня к действительности Лида. Я попыталась высвободить руки. Левую Василий Фёдорович не отпустил: ему на правах немощного много теперь было позволено. Только не был он немощным. Хотя и потрянула его судьба, но не сломила. И не нужно было его утешать и говорить ему какие-то необыкновенные слова. Я и не говорила, говорил он, когда мы пришли в парк и сели с Лидой на скамейку напротив него. Говорил он для меня, и опять незримые связи натянулись между нами. И, хотя Лида сидела рядом со мной, её вроде бы и не было вовсе. Мы опять были

совершенно одни, как тогда на валу. Чуткая Лида понимала наше состояние и ни одним словом не нарушила нашего уединения.

Потом вдруг появились аспиранты, весёлые, самоуверенные парни. Они бесцеремонно пожали всем руки и сразу принялись рассказывать какие-то анекдоты. Им и в голову не могло прийти, что для Василия Фёдоровича они значат меньше, чем какие-то дамы. Не было смысла их разубеждать. Мы с Лидой поднялись и распрощались...

На повороте аллеи я оглянулась – Вася, Василий Фёдорович, смотрел нам вслед и в ответ на мой прощальный жест поднял сомкнутые руки. Больше мы не встречались.

В МАТИ стали преподавать ракетостроение, появилась кафедра специализированная кафедра.

С РПТИ мне пришлось вскоре пять расстаться из-за рождения второго сына. Вспоминая как-то свою трудовую жизнь, я обнаружила странное явление: стоило мне по работе вырваться вперёд, как судьба снимала меня с дистанции – отправляла в декретный отпуск или останавливала долговременной болезнью, и в «Доме страданий» я побывала восемь раз. Не дала мне судьба доработать и до так называемого «заслуженного отдыха» – отправила на отдых по болезни. И ещё: не позволяла и не позволяет она мне жалеть кого-нибудь и тем более осуждать – сразу же я сама оказываюсь в подобных или худших обстоятельствах.

Месяца за два до моего ухода, 7 января 1984 года, в сквере, через который я ходила на работу и с работы в ОКБ «Вега», появился бюст дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премии, академика АН Украины Владимира Фёдоровича Уткина, выполненный скульптором Чекановым. На другой день газета «Приокская правда» опубликовала об этом событии статью «Талантливый сын земли рязанской», в которой весьма туманно говорилось, за какие же заслуги наш земляк (касимовец) удостоился столь высоких почестей. И сразу же поползли слухи, что он связан с ракетно-космической отраслью. Слухи подтверждались тем, что бюст установлен не где-нибудь, а на улице Циолковского. Но мне тогда было не до слухов. Болезнь оказалась тяжёлой и редкой, младший сын ещё не закончил школы. С мужем, согласно предложенным судьбой обстоятельствам, пришлось разойтись. Через 19 лет совместной жизни.

Мой муж... Вернее, бывший муж

В далёком городе взял в жёны

женщину хорошую,

Большого сына воспитавшую,

От одиночества уставшую.

И вот теперь мне пишет письма нежные,

И называет в них меня женой родною.

А кто же та ему?

Наверное, женачеха.

Вернулся он в Омск к ракетами, которые стало выпускать производственное объединение «Полёт», созданное на базе Омского авиационного завода.

Ракеты и за меня ухватились цепко, не желают отпускать даже теперь, когда я поменяла свою трудовую деятельность: ступила на путь, предначертанный мне Надеждой Владимировной. Пишу, редактирую, составляю коллективные сборники, получила третью правительственную награду – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, но... так и не уверилась, что это именно мой путь.

Редактируя рукопись Александра Рябцева «Воспоминания старого солдата», посвящённую Великой Отечественной войне, на которую он попал юным выпускником Алма-Атинского военного пехотно-пулемётного училища, я попросила автора написать эпилог, чтобы читатели знали, что же с ним стало после войны. Мне было известно, что он полковник в отставке, что войну прошёл в составе 37-й гвардейской стрелковой дивизии, то есть был пехотинцем, и я полагала, что и продолжал он служить в том же роде войск. Однако в эпилоге Александр Спиридонович написал:

«Я оказался в войсках Дальней авиации, в авиационно-технической части. <...>

В 1959 году, при создании Ракетных войск стратегического назначения, я был назначен заместителем командира авиационного полка (под таким названием маскировались ракетные войска в авиации). <...>

Каждый год полк выезжал на учебные пуски ракет на полигон «Капьяр». При этих пусках произошли две аварии. В первый раз ракета, нормально сойдя с пускового стола, перед выходом на заданную траекторию начала рыскать из стороны в сторону и взорвалась в воздухе. Обошлось без жертв. Во второй раз ракета при наборе тяги упала с пускового стола на землю, пошла юзом в мою сторону, прошла в десяти метрах от меня и, на моё счастье, не взорвалась. <...> Причиной аварий был признан комиссией «брак ракеты по вине завода-изготовителя»».

Эта информация привела меня в смятение. Я не согласилась с выводом комиссии, представила себе, какую тревогу должны были в связи с ним испытать неведомые мне заводчане. Вспомнила, как нервно реагировали на омском заводе, узнавая об авариях с ТУ-104 в феврале, августе и октябре 1958 года, хотя самолёты были изготовлены на других предприятиях. И вдруг я почувствовала тоску по прежней деятельности, сожаление, что отвратилась некогда сознательно от собственно ракет. Во мне проснулся инженер, и я позвонила автору, сообщила, что тоже имела отношение к ракетам, работала в 1958 году на омском заводе.

– Так это и были его ракеты, – ответил он.

– Нет, к ним-то я уже не имела отношения, так как уволилась раньше, – попыталась я отвести от себя вину.

– Имели, имели! – не принял моего оправдания Александр Спиридонович.

И словно для разрешения нашего с ним несогласия нежданно-негаданно получила я вскоре из Омска от вдовы своего бывшего мужа Галины Михайловны юбилейную газету «Заводская жизнь», десятилетней давности. На её полях Галина Михайловна написала:

«Ирина Константиновна, эта газета должна напомнить вам о далёкой молодости и том предприятии, которое дало путёвку в жизнь. Для меня з-д “Полёт” – нечто дорогое и неповторимое, на котором я проработала 30 лет. В течение их я много бывала в командировках на других предприятиях более сильных, более важных, и, тем не менее, ни на одном мне не захотелось задержаться. «Полёт» родной и для меня, и для Н.И.».

В газете в рубрике «Хроника: факты и цифры» по годам, с 1941 по 2000, год расписана выпускаемая заводом продукция и её количество. Да, к выпущенным в 1959 году 90 ракетам я могла иметь отношение, хотя и уволилась в конце предыдущего года: изделия собираются из деталей изготовленных загодя. Установила по газете, что таинственный полигон, который Александр Спиридонович именует «Капьяр», называется «Капустин яр», и захотела узнать, где же он находится.

– Да недалеко от Астрахани, – сразу же ответил мой друг Эдуард Петрович. К нему я обратилась не случайно: знала, что он некогда имел дело с какой-то ракетно-космической продукцией. Но и он удивил меня неким совпадением: – Я там работал.

И предчувствуя возможность следующего совпадения, я спросила:

– А где работал Уткин?

– Владимир Фёдорович? Их ведь несколько братьев. Самый знаменитый Владимир Фёдорович. Он в Днепропетровске руководил КБ «Южное».

Теперь необходимо было узнать, что делал Уткин в то время, когда мне предложили отправиться в Днепропетровск. И, как по мановению волшебной палочки («волшебник» – писатель Анатолий Говоров) через день-другой у меня появилась книга «Генеральный Конструктор», подготовленная к печати Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения, где её герой был директором в последние десять лет жизни. Это сборник воспоминаний многих людей о В.Ф. Уткине. Есть в нём статья и самого Уткина «Через тернии – к звёздам», привожу из неё выдержки:

«На протяжении более 40 лет я участвовал в создании ракетно-космической техники. С 1952 г. я прошёл в КБ «Южное» все ступеньки, не пропуская ни одной, – от инженера до главного, затем генерального конструктора, а с ноября 1990 г. стал директором Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) – головного института ракетно-

космической отрасли. Мне приходилось участвовать в обсуждении вопросов создания обороны страны на самом высоком уровне».

«Я счастлив, что проработал в Днепропетровске в КБ «Южное» почти 40 лет».

«Днепропетровский автозавод № 586, строительство которого началось по решению Государственного Комитета Обороны от 21 июля 1944 г. и который приступил уже к выпуску первых образцов автокранов, амфибий, грузовых автомобилей, в 1952 г. был переориентирован под производство первых серийных баллистических ракет дальнего действия Р-1, Р-2 разработки НИИ-88».

«В июле 1954 г. для руководства ОКБ-586 был направлен из Москвы главный инженер НИИ-88 Михаил Кузьмич Янгель, который и стал главным конструктором ОКБ».

«Чтобы выполнить сложнейшие задачи, возложенные на ОКБ, М.К. Янгель принял ряд организационных мер. Разработал “Положение об ОКБ”, провёл некоторые кадровые перестановки, сформировал оперативную группу ведущих конструкторов, группу военного представительства. При его непосредственном участии создано также базовое техническое училище 317, готовящее кадры для завода, организованно производство ОКБ-586. Весь комплекс принятых мер и энтузиазм всего коллектива ОКБ и завода позволили разработать и изготовить, параллельно с выпускаемыми серийными ракетами С.П. Королёва, тракторами и другой продукцией, новую ракету Р-12 на высококипящих компонентах топлива».

«На завод и ОКБ оказывалось большое давление, чтобы ускорить разработку ракеты Р-12. В соответствии с постановлением Совета Министров СССР в апреле 1957 г. следовало выйти на лётные испытания».

«На ракете Р-12 была достигнута дальность стрельбы 2000 км...».

Как и следовало ожидать, в моё время В.Ф. Уткин ещё не был обременён высокими должностями: руководил группой в конструкторском отделе, затем стал начальником одного из конструкторских отделов, разрабатывающего конструкторскую документацию, а в 1960 году после гибели на Байконуре заместителя главного конструктора Л.А. Берлина занял эту должность. Сослуживец Уткина, В.Н. Паппо-Корыстин, пишет в статье «Большой, сильный и честный человек»: «На его плечи выпала, пожалуй, самая тяжёлая, требующая ежеминутного внимания и реагирования ноша: ведение конструкторской документации на заводах – изготовителях ракет нашей разработки, расположенных “от Москвы до самых до окраин”: в Днепропетровске, Омске, Перми, Оренбурге, Красноярске». Через девять лет он стал первым заместителем М.К. Янгеля, а после его смерти в 1971 году – главным конструктором».

Узнала я, что побывал Владимир Фёдорович несколько раз в Рязани, в частности и в Рязанской средней школе № 16, где 18 сентября был открыт музей космонавтики имени К.Э. Циолковского (в этот же день был открыт и памятник учёному), и подсадовала, что не встретила с ним. Спросила бы

(если бы решилась преодолеть пиетет): «Уж не вас ли, Владимир Фёдорович, я видела на омском заводе в 1958 году, когда кто-то привозил из Днепропетровска туда документацию и предлагал молодым специалистам поменять холодную Сибирь, на тёплую Украину?» И ещё, не зависимо от ответа спросила бы: «Прижился ли у вас в тёплом Днепропетровске бывший омский технолог Виктор Разумилов?»

А, если бы мне довелось встретиться с Юрием Алексеевичем Гагариным, который дважды приезжал в гости к старшему брату, жившему в Рязани с 1962 года, то я рассказала бы ему о своём школьном сочинении.

Разумеется, мне хотелось закончить свои воспоминания факсимиле хотя бы страницы этого сочинения. Но в сундуке, где хранится часть моего литературного архива, я заветной тетрадки не нашла – обнаружился листок с фрагментом другого сочинения, посвящённого социалистическому реализму. Однако он не диссонирует с темой воспоминаний, поскольку хранит замечания Надежды Владимировны, желавшей повлиять на мою судьбу.

А ракеты, если не несут боеголовок, прекрасны, как и самолёты, хотя нет у большинства их никаких крылышек.